



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

SI AU 4335.1.800



HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

См 48

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БЮГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

АКСАКОВЫ

ИХЪ ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

В. Д. Смирнова

Съ портретами Константина, Сергѣя и Ивана Аксаковыхъ.

.....
ЦѢНА 25 КОП.
.....

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ТИПОГРАФІЯ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖД. ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»
Большая Подъячская, № 89.

1895.

ИЗДАНИЯ Ф. ПАВЛЕНКОВА.

Литература, история, публицистика и законоуѣдніе.

- Истор'я цивилизаціи въ Англіи. Г. Т. Вокла. Переводъ *Вулицкаго*. Съ портретомъ автора и вступителной статьей *Е. А. Соловьева*. Ц. 2 руб.
- Литература XIX вѣка въ ея главнѣйшихъ теченіяхъ. Французская литература: *Г. Брандеса*. Перев. съ нѣм. *Э. А. Зауэра*. Съ 12 портретами и вступительной статьей *Е. А. Соловьева*. Ц. 2 р.
- Сочиненія Винтора Гюго. Два тома. Съ портретомъ автора и вступительной статьей *А. М. Скабичевскаго*. Ц. 2 р. 80 к.
- Сочиненія Д. И. Писарева. Полное собраніе въ 6 томахъ. Съ портретомъ автора и вступит. статей *Е. А. Соловьева* Ц. каждого тома 1 руб.
- Сочиненія Чарльза Диккенса. Полное собраніе. Цѣна каждого тома 1 р. 50 к.—До 1-го апрѣля 1895 г. вышли восемь томовъ: 1) Давидъ Копперфильдъ, 2) Домби и сынъ, 3) Холодный домъ и Поѣздъ о двухъ городахъ, 4) Крошка Дорритъ и Большія надежды, 5) Нашъ общій другъ и Охперъ Твистъ, 6) Записки Пиквикскаго клуба и Тѣмная времена, 7) Николай Никльби. Три охваточныхъ рассказа, 8) Мартинъ Чезальоти. Гимнъ Рождеству. Затрачено. Томъ 9 печатается.
- Сочиненія Пушкина. Съ портретами, биографіей и 500 рисунками. Полное собраніе въ 1-мъ и въ 10 томахъ. Цѣна 1-томнаго и 10-томнаго изданія одна и та же: безъ карт.—1 р. 50 к. Съ 44 картинъ.—2 р. 80 к. За переплетъ: для 1-го изд.—40 к. и 1 р. Для 10-томнаго (въ 5 пер.) 1 р. и 2 р.
- Сочиненія Лермонтова. Полное собраніе въ 1-мъ и 4-хъ томахъ. Съ портретомъ, биографіей, писемной *А. М. Скабичевскаго*, и 115 рисунковъ. Ц. 1 томнаго и 4 томнаго изданія одна и та же 1 р. За переплетъ: для 1 томнаго 40 к. и 1 руб. Для 4 томнаго—50 к. и 1 руб.
- Повѣсти и разказы *М. Н. Потапенко*. 8 томовъ. Ц. каждого—1 р. Пер. для 2-го изданія 75 к.
- Сочиненія Глѣба Успенскаго. 3 изд., въ 2 том. Съ портретомъ автора и статьей *Н. К. Михайловскаго*. Ц. за два тома—3 р. Переплетъ въ 50 к. и въ 1 р.
- Сочиненія Глѣба Успенскаго. Томъ 3-й. Ц. 1 р. 50 к.
- Сочиненія В. Рѣшетникова. Въ двухъ томахъ. Съ портр. автора и статьей *М. Протопопова*. Ц. за все собраніе—2 р. 50 к.
- Сочиненія А. М. Скабичевскаго. Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литерат. характеристикъ. Съ портретомъ автора. 2-е изд., въ 2 томахъ. Ц. 3 р.
- Большой альбомъ изъ "Сочиненій Пушкина". 44 иллюстраціи съ подписями, портреты и снимкомъ съ черка. Цѣна въ папкѣ 1 р. 50 к.
- Малый альбомъ изъ "Сочиненій Пушкина". Тѣ же иллюстраціи, но меньшаго формата. Ц. въ коленкоровомъ переплетѣ—1 р. 25 к.
- 120 рисунковъ къ Лермонтову. Художеств. альбомъ *М. Е. Малышева*. Цѣна въ папкѣ 50 к.
- Герои и героическое въ исторіи. *Томъ Карлейля*. Перев. *В. Яковенко*. Ц. 1 р. 50 к.
- По волнамъ безконечности. Астрономическая фантазія *К. Фламмаріона*, 2-е изд. Ц. 80 к.
- Конечъ міра. Астрономическій романъ *К. Фламмаріона*. Съ краткой биографіей автора и 4-ми его портретами. Ц. 60 к.
- Въ небесахъ (*Uranie*). Астрономическій романъ *К. Фламмаріона*. Ц. 89 рис. 2-е изд. Ц. 75 к.
- Грядущая раса. Фантастическій романъ. *Эд. Вульфера*. Перев. съ нѣм. *Каменскаго*. Ц. 50 к.
- Исторія французской революціи. *Н. Карно*. 2-е изд. Ц. 1 р.
- Европейскіе монархи и ихъ дворы. *Politiques'a*. Перевелъ *В. Раницовъ*. Съ 16 портрет. Ц. 1 р.
- Черезъ сто лѣтъ. Соц. романъ *Э. Веллама*. 3-е изд., дополн. научно-предсказательными очеркомъ Ринго: "Куда мы идемъ?". Ц. 1 р.
- Въ трущобахъ Англіи. Соціал. борьба съ экономич. явленіями современ. общества. *Вутса*. Ц. 1 р.
- Найтанская дочка. Поѣздъ *А. Пушкина*. Роскошное изд. Съ 188 рисунками Ц. 60 к., въ пап. 75 к., въ пер. 1 р.
- Голодъ. Ром. *К. Гамсуна*. Съ норвежск. Ц. 60 к.
- Забота. Ром. *Зудермана*. Съ 14 нѣм. изд. Ц. 60 к.
- До погоды. Романъ изъ жизни нервобитныхъ людей. *Рони*. Съ 16 рис. Ц. 50 к.
- Новѣйшіе русскіе писатели. *А. Цетковска*. Книга для домашняго чтенія Съ 72 портр. Ц. 3 р.
- Исторія новѣйшей русск. литературы (1848—1892 гг.). *А. М. Скабичевскаго*, 2-е изд. Ц. 2 р.
- Очерки исторіи русской цензуры. *А. Скабичевскаго*. Ц. 2 р.
- Счастье и трудъ. *П. Мантеассица*. 2-е изд. Ц. 75 к.
- Въ раздумьи. Очерки и рассказы изъ жизни русск. интеллигенціи. *Е. А. Соловьева*. Ц. 75 к.
- Вырожденіе. Политическіе эскизы въ области современной литературы и искусства. *Макса Нордау*. Большой томъ, 585 столб. Ц. 1 р. 60 к.
- Исторія культуры. *Линдберта*. Пер. съ нѣмецкаго, съ 85 рис. Ц. 1 р. 60 к.
- Матери великихъ людей. *Елока*. Переводъ *З. Горской*. Со многими рисунками и портретами. Ц. 60 к.
- Долой оружіе! Анти-военный романъ *В. Зуммеръ*. Компактное изданіе. Цѣна 80 к.
- Подъ маской благочестія. (Преступленія и оргіи папъ.) Романъ *Э. Постери*. Ц. 1 р.
- Тургеневъ о русскомъ народѣ. Чтеніе для народа. Съ портрет. *И. С. Тургенева*. Ц. 15 к.
- Литература и жизнь. Писма о разныхъ разлестяхъ. *Н. К. Михайловскаго* Ц. 1 р.
- Въ поискахъ за истиной. *Макса Нордау*. Перев. съ нѣмец. *Э. Зауэра*. 3-е изд. Ц. 1 р.
- Болезнь любви. Гигіеническ. романъ *Мантеассица*. Ц. 50 к.
- Роль общественнаго мнѣнія въ государственной жизни. Профес. *Голицындорфа*. Ц. 75 к.
- Очерки самоуправленія (земскаго, городского и сельскаго). *С. Приклонскаго*. Ц. 2 р.
- Борьба съ земельными хищничествами. Бытовые очерки *И. Тимоненкова*. Ц. 1 р.
- Брюхо Петербурга. Общественно-физиологическіе очерки *А. Вахтарова*. Ц. 1 р. 50 к.
- Законы о гражданскихъ договорахъ. Общественно-наложеніе и объясненіе. Составилъ *В. Фармаковский*. Изд. 4-е. Ц. 1 р. 25 к.
- Исторія книги на Руси. *А. Вахтарова*. Со многими рисунками изъ текстъ. Ц. 1 р. 50 к.
- Русскіе фланеры въ Парижѣ. *Попова*. 2-е изд. Ц. 1 р.
- По градамъ и веснямъ. Ром. изъ исторіи нашего времени. *Володина* (П. Засодимскаго). Ц. 1 р. 50 к.

74



К. АКСАКОВЪ.

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БЮГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

АКСАКОВЫ

ИХЪ ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

БЮГРАФИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ

В. Д. Смирнова

Съ тремя портретами, гравированными въ Парижѣ и Петербургѣ.

Солон'ев
.....
ЦѢНА 25 коп.
.....
Аксаков

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ТИПОГРАФІЯ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕН. ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»
Больш. Подъяч., № 39

1895

Slav 4335. 1. 400

✓

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 26 Мая 1895 г.



69.12.1

О Г Л А В Л Е Н І Е.

I. Московскій кружокъ славянофиловъ	стр. 5
II. Центръ московскаго славянофильства — домъ Аксако- выхъ	19
III. Литературная дѣятельность С. Т. Аксакова	26
IV. Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ	34
V. Славянофильская доктрина	48
VI. Иванъ Аксаковъ.—Немезида славянофильства.—Славя- нофильство, какъ классовая теорія	66
VII. Заключение	73

И С Т О Ч Н И К И.

- 1) Сочиненія С. Т., К. С. и И. С. Аксаковыхъ.
 - 2) Критико-біографическій словарь С. Венгерова т. I.
 - 3) Вл. Соловьевъ «Национальный вопросъ въ Россіи» т. II.
 - 4) Мих. Бо...ръ Происхожденіе славянофильства.
-

І. Московскій кружокъ славянофиловъ.

«Славянофильство или руссизмъ, не какъ теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное воспоминаніе и массовый инстинктъ, какъ противодѣйствіе исключительно иностранному вліянію существовало со времени обрѣтія первой бороды Петромъ Великимъ».

Противодѣйствіе петербургскому «объевропеиванію» Россіи никогда не перемежалось; казенное, четвертованное, повѣшенное на зубцахъ Кремля и тамъ прострѣленное Меншиковымъ и другими царскими «потѣшными» въ видѣ буйныхъ стрѣльцовъ; убитое въ рavelинѣ петербургской крѣпости въ лицѣ царевича Алексѣя, оно—это противодѣйствіе—является какъ партія Долгорукихъ при Петрѣ II, какъ ненависть къ нѣмцамъ при Биронѣ, какъ разнузданная брань геніальнаго Ломоносова, какъ сама Елисавета, опиравшаяся на тогдашнихъ славянофиловъ, чтобы сѣсть на престолъ: вѣдь народъ въ Москвѣ ждалъ, что при ея коронованіи выйдетъ приказъ избить нѣмцевъ. Всѣ раскольники—славянофилы по настроенію. Солдаты, требовавшіе смѣны Барклая-де-Толли за его нѣмецкую фамилію, были предшественниками Хомякова и его друзей.

Война 1812 года сильно развила чувство народнаго сознанія и любви къ родинѣ, но патриотизмъ 1812 года не имѣлъ старообрядчески-славянскаго характера. Мы его видимъ въ Карамзинѣ и Пушкинѣ, въ самомъ императорѣ Александрѣ. Практически онъ былъ выраженіемъ того инстинкта силы, который чувствуютъ всѣ могучіе народы, когда ихъ задѣваютъ чужіе; потомъ это было торжественное чувство побѣды, гордое сознаніе даннаго отпора. Но теорія его была слаба; для того, чтобы любить русскую исторію, патриоты перекладывали ее на европейскіе нравы; они вообще переводили съ французскаго на русскій римско-греческій патриотизмъ Корнеля и Расина и не шли далѣе стиха:

Pour un coeur bien né, que la patrie est chère!

Какъ дорого отечество для благородно рожденнаго сердца!

Правда Шишковъ бредилъ уже и тогда о восстановленіи стараго слога, но вліяніе его было ограничено. Что же касается до настоящаго народнаго слога, то его зналъ одинъ офранцузенный

графъ Растопчинъ, да и тотъ частенько перевиралъ его, преобразовывая въ «балаганный стиль».

По мѣрѣ того какъ война забывалась, патріотизмъ этотъ утихалъ и вырождался наконецъ, съ одной стороны, въ подлую циническую лезть «Сѣверной Пчелы», съ другой — въ пошлый Загоскинскій патріотизмъ, называвшій Шую Манчестромъ, Шубеува — Рафаэлемъ, хваставшій штыками и дистанціей огромнаго разиѣра «отъ стѣнъ Кремля до стѣнъ Китая»...

Только при императорѣ Николаѣ славянофильство изъ настроенія обратилось въ доктрину, теорію. Въ этомъ многое было повинно, и прежде всего режимъ Николаевского царствованія. Удивительное время!

«Создалась,—говоритъ г. Любимовъ, большой сторонникъ Каткова и «Моск. Вѣд.», правительственная система, съ которой не могъ примириться ни одинъ независимый умъ, прилаживаться къ которой свободная мысль могла, лишь заглушая себя, скрываясь, побѣждая себя, сосредоточивая вниманіе на свѣтлыхъ сторонахъ и закрывая глаза на темныя, удовлетворяясь довольствомъ личнаго положенія, лицемѣрия вольно или неволью, чтобы не прать противъ рожа.

«Государственная идея, высокая сама по себѣ и крѣпкая въ державномъ источникѣ ея, въ практикѣ жизни приняла исключительную форму «начальства». Начальство сдѣлалось все въ странѣ. Все Кесареви, — Богови оставалось весьма немного. Все сводилось къ простотѣ отношеній начальника и подчиненнаго. Губернаторъ, при какой-то ссылкѣ на законъ, взявшій со стола томъ свода законовъ и сѣвшій на него съ вопросомъ: «гдѣ законъ?», былъ лицомъ типическимъ, въ частности добрымъ и справедливымъ человѣкомъ».

«Въ то время,—продолжаетъ г. Любимовъ,—купецъ торговалъ, потому что была на то милость начальства; обыватель ходилъ по улицѣ, спалъ послѣ обѣда въ силу начальническаго позволенія; приказный пилъ водку, женился, плодилъ дѣтей, бралъ взятки по милости начальническаго снисхожденія. Воздухомъ дышали, потому что начальство, снисходя къ слабости нашей, отпускало въ атмосферу достаточное количество кислорода. Рыба плавала въ водѣ, птицы лѣли въ лѣсу, потому что такъ разрѣшено было начальствомъ. Начальникъ былъ безотвѣтствененъ въ отношеніяхъ своихъ къ подчиненнымъ, но имѣлъ, въ тѣхъ же условіяхъ, начальство и надъ собою. Для народа, несшаго тяготы и крѣпостныхъ, и государственныхъ повинностей, со включеніемъ тяжелой рекрутчины, то было время не легкой службы. Военные люди, какъ представители дисциплины и подчиненія, имѣли первенствующее значеніе, считались годными для всѣхъ родовъ службы. Гусарскій полковникъ засѣдалъ въ синодѣ, въ качествѣ оберъ-прокурора. Зато полковой священникъ, подчиненный оберъ-священнику, былъ служивый въ рясахъ, независимый отъ архіерея... Всякая независимая отъ службы дѣятельность человѣка считалась развѣ только терпимой при незамѣтности и немедленно возбуждала опасеніе, какъ только чѣмъ-либо явно обнаруживалась... Тѣлесныя наказа-

нія считались главнымъ орудіемъ дисциплины и основой общественнаго воспитанія. Отъ ученія требовали только практической пригодности, наука была въ подозрѣніи. Съ 1848 года преслѣдованіе независимости во всѣхъ ея формахъ приняло мрачный характеръ».

При такихъ обстоятельствахъ, при такой тягости жизни почва для утопіи, для всяческихъ мечтаній готова. Славянофилы не замедлили выдвинуть на сцену свою утопію, свои мечтанія, что было имъ такъ-же необходимо, какъ глотокъ свѣжаго воздуха задыхающемуся человѣку. Обстоятельства заставили ихъ организоваться, сплотиться и подыскать философскія подпорки для своихъ вождедѣній.

Лѣтомъ 1836 г. въ одномъ изъ журналовъ того времени появилось знаменитое письмо Чаадаева. «Это былъ выстрѣлъ, раздавшійся въ темную ночь; тонуло ли что и возвѣщало свою гибель, былъ ли это сигналъ, зовъ на помощь, вѣсть объ утрѣ или о томъ, что его не будетъ,—все равно надо было проснуться».

Что, кажется, значать два-три листа, помѣщенныхъ въ ежемѣсячномъ обзорѣніи? а между тѣмъ такова сила рѣчи сказанной, такова мощь слова въ странѣ мечтаній и непривыкшей къ свободному говору, что письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россію. Оно имѣло полное право на это. «Послѣ «Горя отъ ума» не было ни одного литературнаго произведенія, которое сдѣлало бы такое сильное впечатлѣніе. Между ними—десятилѣтнее молчаніе. Мысль исподволь работала, но ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать; вдругъ тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала рѣчи для того, чтобы спокойно сказать: *«lasciate ogni speranza»*».

«Со второй, третьей страницы письма,—говоритъ современникъ,—меня остановилъ печально серьезный тонъ: отъ каждаго слова вѣло долгимъ страданіемъ, уже охлажденнымъ, но еще озлобленнымъ. Такъ пишутъ только люди, долго думавшіе, много думавшіе и много испытавшіе въ жизни... Читаю далѣе—письмо растетъ, оно становится мрачнымъ обвинительнымъ актомъ, протестомъ личности, которая за все вынесенное хочетъ высказать часть накопившагося на сердцѣ».

«Каждый чувствовалъ тяготу. У каждаго было *что-то* на сердцѣ и все-таки всѣ молчали, наконецъ пришелъ человѣкъ, который по своему сказалъ—*что*. Онъ сказалъ только про боль, свѣтлаго ничего нѣтъ въ его словахъ, да нѣтъ ничего и во взглядѣ. Письмо Чаадаева—безжалостный крикъ боли и упрека петровской Россіи, она имѣла право на него; развѣ эта среда жалѣла, щадила автора или кого-нибудь?»

«Разумѣется, такой голосъ долженъ былъ вызвать противъ себя оппозицію, или онъ былъ-бы совершенно правъ, говоря, что «прошедшее Россіи пусто, настоящее невыносимо, а будущее для нея вовсе

нѣтъ, что «это пробѣлъ недоразумѣнія, грозный урокъ, данный народамъ—до чего отчужденіе и рабство могутъ довести». Это было покаяніе и движеніе. Оно и не прошло такъ. На минуту всѣ даже сонные и забытые воспрянули, испугавшись злобщаго голоса. Всѣ были изумлены, большинство было оскорблено, человѣкъ десять громко и горячо аплодировали автору.

Исторія Россіи—грозный урокъ, данный народамъ, «до чего отчужденіе и рабство могутъ довести»,—такова основная мысль Чаадаева. Искренняя, выстраданная, она однако несправедлива до рѣзкости, до обиды. Комментируя ее, Чаадаевъ говорилъ: «въ Москвѣ каждаго иностранца водятъ смотрѣть большую пушку и большой колоколъ. Пушку, изъ которой стрѣлять нельзя, и колоколъ, который свалился прежде, чѣмъ зазвонилъ. Удивительный городъ, гдѣ достопримѣчательности отличаются нелѣпостью; или можетъ быть этотъ большой колоколъ безъ языка—гіероглифъ, выражающій эту огромную нѣмую страну, которую заселяетъ племя, назвавшее себя *славянами*, какъ бы удивляясь, что имѣетъ слово *человѣческое*»...

Нельзя было оставить безъ отпора такое неуваженіе. Чаадаевъ и славянофилы равно стояли передъ неразгаданнымъ сфинксомъ русской жизни; они равно спрашивали: «что же будетъ? Такъ жить невозможно; тягость и нелѣпость окружающаго очевидно невыносима—гдѣ же выходъ?»

«Его нѣтъ», отвѣчаетъ человѣкъ петровскаго періода, исключительно западной цивилизаціи, вѣрившій при Александрѣ I въ европейскую будущность Россіи. Онъ печально указывалъ, къ чему привели усилія цѣлаго вѣка: образованіе дало только новыя средства угнетенія, народъ стонетъ подъ игомъ, горшею прежняго. «Исторія другихъ народовъ—говоритъ онъ—повѣсть ихъ освобожденія. Русская исторія—развитіе крѣпостного состоянія». «Переворотъ Петра сдѣлалъ изъ насъ худшее, что могло сдѣлать изъ людей—просвѣщенныхъ рабовъ. Довольно мучились мы въ этомъ тяжеломъ, смутномъ нравственномъ состояніи, непонятые народомъ, отшатнувшіеся отъ него,—пора отдохнуть, пора свести въ свою душу миръ, прислониться къ чему-нибудь». Это почти значило, «пора умереть»; и Чаадаевъ «прислонился» къ католицизму.

Славянофилы рѣшили вопросъ иначе.

Въ ихъ рѣшеніи лежало вѣрное сознаніе живой души въ народѣ, чутье ихъ было проникательнѣе ихъ разумѣнія. Они поняли, что современное состояніе Россіи не смертельная, а лишь временная болѣзнь. И въ то время какъ у Чаадаева слабо мерцаетъ

возможность спасенія лицъ, а не народа, у славянофиловъ явно проглядываетъ мысль о гибели лицъ, захваченныхъ современной эпохой, и вѣра въ спасеніе народа — его будущность.

«Выходъ за нами,—говорили славянофилы,—выходъ—въ отреченіи отъ петербургскаго періода, возвращеніе къ народу, съ которымъ разобщило иностранное образованіе: *воротимся* къ прежнимъ допетровскимъ правамъ».

Вѣрное хорошее настроеніе воплотилось въ странную форму. Исторія не возвращается; жизнь богата тканями, ей никогда не бываютъ нужны старыя платья. Всѣ возстановленія, всѣ реставраціи были всегда маскарадами: ни легитимисты не возвратились ко временамъ Людовика XIV, ни республиканцы — къ 8-ому Термидору. Случившееся стоитъ писанаго, его не вырубишь топоромъ... хотя бы самой гильотины.

Намъ сверхъ того и не къ чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской Россіи была уродлива, бѣдна, дика,—а къ ней то и хотѣли славянофилы возвратиться, хотя они и не признаются въ этомъ: какъ же иначе объяснить всѣ археологическія воскрешенія, поклоненіе правамъ и обычаямъ прежняго времени и самыя попытки возвратиться не къ современной одеждѣ крестьянъ, а къ стариннымъ неуклюжимъ *боярскимъ* костюмамъ. И что это за ненависть къ фракамъ и брюкамъ нѣмецко-парижскаго покроя? Во всей Россіи кромѣ славянофиловъ никто не носилъ мурмолокъ. К. С. Аксаковъ одѣлся такъ «національно», что народъ на улицахъ принималъ его за персіянина, какъ рассказываетъ шута Чадаевъ.

Мурмолки и персидскіе кафтаны должны были набрасывать тѣнь на всѣ славянофильскія теоріи. Эта тѣнь по необходимости сгустилась, когда узкій, назойливый, даже наглый, націонализмъ нашелъ себѣ убѣжище и радушный приѣмъ въ славянофильскомъ лагерѣ.

«Такъ наприимѣръ, въ концѣ тридцатыхъ годовъ былъ въ Москвѣ проѣздомъ панславистъ Гай. Москвитяне вѣрять вообще всѣмъ иностранцамъ; Гай былъ больше чѣмъ иностранецъ, онъ былъ «нашъ братъ» славянинъ. Ему, стало быть, нетрудно было разжалобить нашихъ славянъ судьбою страждущихъ и православныхъ братій въ Далмаціи и Кроаціи; огромная подписка была сдѣлана въ нѣсколько дней, и сверхъ того Гаю былъ данъ обѣдъ во имя всѣхъ сербскихъ и русняцкихъ симпатій. За обѣдомъ одинъ изъ вѣжнѣйшихъ по голосу и по занятіямъ славянофиловъ, чело-

вѣкъ *краснаго* православія, — К. Аксаковъ, — разгоряченный вѣроятно тостами за черногорскаго владыку, за разныхъ великихъ босняковъ, чеховъ и словаковъ, импровизировалъ стихи, въ которыхъ было слѣдующее «не совѣмъ» христіанское выраженіе:

Упьюся я кровью мадяровъ и нѣмцевъ...

Всѣ неповрежденные съ отвращеніемъ услышали эту фразу. По счастью остроумный статистикъ Андросовъ выручилъ кроваваго пѣвца; онъ вскочилъ съ своего мѣста, схватилъ десертный ножикъ и сказалъ: «Господа, извините меня; я васъ оставляю на минуту; мнѣ пришло въ голову, что хозяинъ моего дома, старикъ настройщикъ Дизъ, — нѣмецъ; я сбѣгаю его прирѣзать и сейчасъ же возвращусь». Громъ смѣха заглушилъ негодование».

Письмо Чаадаева заставило славянъ организоваться. Въ началѣ 40-хъ годовъ они были въ полномъ боевомъ порядкѣ съ своей легкой кавалеріей подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно тяжелой пѣхотой Шевырева и Погодина, съ своими застрѣльщиками, охотниками, ультра-якобинцами, отвергавшими все бывшее послѣ кіевскаго періода, и умѣренными, отвергавшими только петербургскій періодъ; у нихъ были свои кафедрны въ университетѣ, свое ежемѣсячное обозрѣніе, какъ бы символически выходившее всегда двумя мѣсяцами позже, чѣмъ слѣдовало, но все же выходившее. При главномъ штабѣ состояли православные гегеліанцы, византійскіе богословы, мистическіе поэты, множество женщинъ и пр., и пр. По всей ланіи происходили ожесточенныя стычки съ западниками. Эти постоянныя, черезъ день повторявшіяся стычки очень интересовали литературные салоны въ Москвѣ. Надо замѣтить вообще, что Москва входила тогда въ ту эпоху возбужденности умственныхъ интересовъ, когда литературные вопросы, за невозможностью политическихъ, становятся вопросами жизни. Появленіе замѣчательной книги, напр. «Мертвыхъ Душъ», составляло событіе. Критики и антикритики читались и комментировались съ тѣмъ вниманіемъ, съ какимъ бывало во Франціи или Англіи слѣдили за парламентскими преніями. Подавленность всѣхъ другихъ сферъ человѣческой дѣятельности бросала образованную часть общества въ книжный міръ и въ немъ одномъ дѣйствительно совершался глухо и полусловами протестъ противъ тяготы жизни. Въ лицѣ западниковъ и Грановскаго по преимуществу московское общество привѣтствовало равнуюсь къ

свободѣ мысль Запада,—мысль умственной независимости и борьбы за нее. Въ лицѣ славянофиловъ оно протестовало противъ оскорбленнаго чувства народности.

Все это, разумѣется, совершалось на вершинахъ общества, несколько не затрогивая массы. Въ то время и славянофильство и западничество по необходимости были эзотерическими, «внутренними» ученіями, истинный смыслъ которыхъ былъ доступенъ лишь немногимъ посвященнымъ.

«Я въ Москвѣ зналъ,—говоритъ одинъ современникъ,—два круга, два полюса ея общественной жизни. Сначала я былъ потерянъ въ обществѣ стариковъ гвардейскихъ офицеровъ временъ Екатерины, товарищей моего отца, и другихъ стариковъ, нашедшихъ тихое убѣжище въ страннопримномъ сенатѣ, товарищей его брата. Потомъ я зналъ другую, *молодую* Москву—литературно-свѣтскую. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, дожидавшимися своихъ похоронъ по рангу, и ихъ сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями», я не зналъ и не хотѣлъ знать. Промежуточная среда эта—настоящая николаевская Русь—была безцвѣтна и пошла, безъ екатерининской оригинальности, безъ отваги и удалы людей 1812 года, безъ нашихъ стремленій и интересовъ... Говоря о московскихъ гостинныхъ и столовыхъ, я говорю о тѣхъ, въ которыхъ нѣкогда царилъ А. С. Пушкинъ, давали тоны декабристы, смѣялся Грибоѣдовъ, гдѣ М. Орловъ и А. Ермоловъ встрѣчали дружескій привѣтъ, потому что они были въ опалѣ; гдѣ наконецъ А. Хомяковъ спорилъ до 9-ти часовъ утра, начавши въ 9 вечера, гдѣ К. Аксаковъ съ мурмошкой въ рукѣ свирѣпствовалъ за Москву, на которую никто не нападалъ, гдѣ Р. выводилъ логически личнаго Бога *ad maiorem gloriam Hegelii*, гдѣ Грановскій являлся съ своей тихой, но твердой рѣчью, гдѣ всѣ помнили Бакунина и Станкевича, гдѣ Чаадаевъ, тщательно одѣтый, съ нѣжнымъ, какъ изъ воску, лицомъ, сердилъ оторопѣвшихъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замѣчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намѣренно замороженными, гдѣ молодой старикъ А. И. Тургеневъ мило сплетничалъ обо всѣхъ знаменитостяхъ Европы отъ Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варигагенъ, гдѣ Боткинъ и Крюковъ патетически наслаждались разсказами М. С. Щепкина и куда наконецъ падалъ, какъ конгревова ракета, Бѣлинскій, выжигая кругомъ все, что попадало...»

Въ этихъ кружкахъ за литературными чаями и литературными ужинами все волновалось и кипѣло. Москва принимала дѣятельное участіе въ спорахъ за мурмолки и противъ нихъ, барыни и барышни читали статьи очень скучныя, слушали пренія очень длинныя, спорили сами за К. Аксакова или за Грановскаго, жалѣли только, что Аксаковъ слишкомъ славянинъ, а Грановскій недостаточно патріотъ. Споры возобновлялись на всѣхъ литературныхъ и нелитературныхъ вечерахъ, на которыхъ встрѣча-

лись западники и славянофилы, а это бывало раза два или три въ недѣлю. Въ понедѣльникъ собирались у Чаадаева, въ пятницу—у Свербѣева, въ воскресенье—у Елагиной. Сверхъ участниковъ въ спорахъ, сверхъ людей, имѣвшихъ мнѣнія, на эти вечера прїѣзжали охотники, даже охотницы, и сидѣли до двухъ часовъ ночи, чтобы посмотрѣть, кто изъ матадоровъ кого отдѣлаетъ и какъ отдѣлаютъ его самого: прїѣзжали въ томъ родѣ, какъ встарь ѣздили на кулачные бои и въ амфитеатръ за Рогожской заставой.

Ильей Муромцемъ, разившимъ всѣхъ со стороны православія и славянизма, былъ А. С. Хомяковъ, «Горгіасъ, совопросникъ міра сего», по выраженію Морозкина. Умъ сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый въ нихъ, богатый памятью и быстрымъ соображеніемъ, онъ горячо и неутомимо проспорилъ всю свою жизнь. Боецъ безъ усталости и отдыха, онъ билъ и кололъ, нападалъ и преслѣдовалъ, осыпалъ островами и цитатами, пугалъ и заводилъ въ лѣсъ, откуда безъ молитвы выйти было нельзя.

Философскіе споры его состояли въ томъ, что онъ отвергалъ возможность разумомъ дойти до истины (одинъ изъ крайнихъ догматовъ славянофильства); онъ приписывалъ разуму одну формальную способность, способность развивать зародыши или зерна, даваемые откровеніемъ, получаемыя въпрямую. Если же разумъ оставленъ на самого себя, то, бродя въ пустотѣ и строя категорію за категоріей, онъ можетъ обличить свои законы, но никогда не дойдетъ ни до понятія о духѣ, ни до понятія о безсмертіи. На этомъ Хомяковъ билъ на голову людей, остановившихся между религіей и наукой. Какъ они ни бились въ формахъ гегелевской методы, какія ни дѣлали построенія, Хомяковъ шелъ за ними шагъ за шагомъ и подъ конецъ дулъ на карточный домъ логическихъ формулъ или подставлялъ ногу своимъ противникамъ и заставлялъ ихъ падать въ матеріализмъ, отъ котораго они стыдливо отрекались, или въ «атеизмъ», котораго они просто боялись. Хомяковъ торжествовалъ! Но, разумѣется, онъ не могъ не пасовать передъ людьми, которые безбоязненно принимали *все* выводы науки, куда бы она ни вела ихъ.

Тутъ же были и другіе столпы славянофильства, братья Кирѣевскіе—Иванъ и Петръ. Оба они стоятъ печальными тѣнями на рубежѣ народнаго воскресенія; непризнанные живыми, недѣлившіе ихъ интересовъ, они не скидали савана, не разставались съ своей глубокой грустью.

«Преждевременно состарѣвшееся лицо Ивана Васильевича по-

сило рѣвкіе слѣды страданій и борьбы. Жизнь ему не улыбалась. Съ жаромъ принялся онъ въ своей юности за ежемѣсячное обозрѣніе «Европеецъ». Двѣ вышедшія книжки были превосходны, при выходѣ второй «*Европеецъ*» былъ запрещенъ. Онъ помѣстилъ въ «*Денницу*» статью о Новиковѣ. «Денница» была схвачена, и цензоръ Глинка посаженъ подъ арестъ. Кирѣевскій, разстроившій свое состояніе «Европейцемъ», уныло почилъ въ пустынь московской жизни; ничего не представлялось вокругъ—онъ не вытерпѣлъ и уѣхалъ въ деревню, затаивъ въ груди глубокую скорбь и тоску по дѣятельности. И этого человѣка, твердаго и чистаго, какъ сталь, разѣбла ржа. Черезъ 10 лѣтъ онъ возвратился въ Москву изъ своего отшельничества мистически настроенный.

Положеніе его въ Москвѣ было тяжелое. Совершенной близости, сочувствія у него не было ни съ западниками, ни съ славянофилами. Между нимъ и западниками была стѣна вѣры и церковныхъ, православныхъ догматовъ. Въ то же время поклонникъ свободы и принциповъ французской революціи, онъ не могъ раздѣлять пренебреженія ко всему европейскому новыхъ старообрядцевъ-славянъ. Онъ однажды съ глубокой печалью сказалъ Грановскому: «Сердцемъ я больше связанъ съ вами, но не дѣлю многого изъ вашихъ убѣжденій; съ нашими я ближе вѣрой, но столько же расхожусь въ другомъ». Съ Иваномъ Кирѣевскимъ было больно спорить, какъ больно спорить съ разрушающимся человѣкомъ.

* * *

Характеристика славянофильскаго кружка вышла бы однако неполной, еслибы мы забыли упомянуть о самомъ фанатическомъ проповѣдникѣ правотѣ и народничества, К. Аксаковѣ. Мы еще часто будемъ встрѣчаться съ нимъ, пока—всего нѣсколько строкъ.

«Константинъ Аксаковъ не смѣялся, какъ Хомяковъ, въ диалектическомъ упоеніи мысли и не сосредоточивался въ безвыходномъ сѣтованіи, какъ Кирѣевскіе. Мужающій юноша, и притомъ вѣчный юноша,—онъ рвался къ дѣлу. Въ его убѣжденіяхъ мы видимъ не неувѣренное пытаніе почвы, не печальное сознаніе проповѣдника въ пустынь, не дальнія надежды, а фанатическую вѣру, нетерпимую, одностороннюю,—ту, которая могла бы сдвинуть съ мѣста горы. Аксаковъ былъ одностороненъ, какъ всякій воинъ. Онъ былъ окруженъ враждебной средой, средой сильной и имѣвшей надъ нимъ большія выгоды, ему надо было пробиваться черезъ ряды всевозможныхъ непріятелей и водрузить свое знамя. Какая ужъ тутъ терпимость!

«Вся жизнь его была безусловнымъ протестомъ противъ петровской Руси, противъ петербургскаго періода во имя непризнанной, подавленной жизни русскаго народа. Его діалектика уступала діалектикѣ Хомякова, онъ не былъ поэтъ-мыслитель, какъ И. Кирѣевскій, но онъ за свою вѣру пошелъ бы на площадь, пошелъ бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убѣдительными. Онъ въ началѣ 40-хъ годовъ *проповѣдывалъ сельскую общину, міръ и артель*. Онъ научилъ Гаксгаузена понимать ихъ и, послѣдовательный до дѣтства, первый опустилъ панталоны въ сапоги и надѣлъ рубашку съ кривымъ воротомъ. «Москва—столица русскаго народа, говорилъ онъ, а Петербургъ—только резиденція».

Аксаковъ остался до конца жизни вѣчно восторженнымъ и безпредѣльно благороднымъ юношей: онъ увлекался, былъ увлекаемъ, но всегда былъ чистъ сердцемъ. Въ 1844 году, когда споры славянофиловъ съ западниками дошли до того, что они уже не хотѣли болѣе встрѣчаться, Г. какъ-то шелъ по улицѣ, К. Аксаковъ ѣхалъ въ саняхъ. Г. дружески поклонился ему. Онъ-было проѣхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подошелъ къ Г. «Мнѣ было слишкомъ больно,—сказалъ онъ,—проѣхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послѣ всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ вамъ ѣздить; жаль, жаль, но дѣлать нечего. Я хотѣлъ пожать вашу руку и проститься». Онъ быстро пошелъ къ своимъ санямъ, но вдругъ воротился. Г. стоялъ на томъ-же мѣстѣ; ему было грустно. Аксаковъ бросился къ нему, крѣпко обнялъ его и крѣпко поцѣловалъ. У него на глазахъ были слезы. Этому-то младенцу сердцемъ, но убѣжденному и непреклонному фанатику и пришлось играть главную роль въ проповѣди славянофильства. Можно себѣ напередъ представить, сколько горячности было внесено въ эту проповѣдь и къ какимъ жизненнымъ практическимъ результатамъ могла она привести!

* * *

Быстро и далеко зашла ссора изъ-за теоретическихъ разногласій между западниками и славянофилами, и полемика за литературными чаями мало-по-малу перешла въ журнальную.

Грановскій, Г. и другіе кое-какъ еще ладили съ славянофилами. Не уступая началъ, они не дѣлали изъ разномыслія личнаго вопроса. Бѣлинскій, страстный въ своей нетерпимости, шелъ дальше и горько упрекалъ своихъ друзей-западниковъ за покладистость.

«Я жидъ по натурѣ,—писалъ онъ одному изъ нихъ изъ Петербурга,—и съ филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу. Грановскій хочетъ знать, читалъ ли я его статью въ «Москвитянинѣ» (органѣ славянъ)? Нѣтъ, и не буду читать. Скажи ему, что я не люблю ни видѣться съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія».

Зато честили его и славянофилы. «Москвитянинъ», раздраженный Бѣлинскимъ, раздраженный успѣхомъ «Отечественныхъ Записокъ» и успѣхомъ знаменитыхъ лекцій Грановскаго, защищался, чѣмъ попало, и всего менѣе жалѣлъ Бѣлинскаго; онъ прямо говорилъ о немъ, какъ о человѣкѣ опасномъ, жаждущемъ разрушенія, радующемся при зрѣлищѣ «пожара», и т. д.

«Москвитянинъ» былъ главнымъ образомъ выразителемъ профессорскаго славянофильства двухъ своихъ редакторовъ, Погодина и Шевырева—этихъ сіамскихъ близнецовъ, какъ ихъ тогда называли. «Москвитянинъ» мало-по-малу сталъ задѣвать уже не только Бѣлинскаго за его журнальныя статьи, но и Грановскаго—за его лекціи. И дѣлалось это къ сожалѣнію съ тѣмъ-же несчастнымъ отсутствіемъ такта, который возстановлялъ противъ славянскаго органа всѣхъ порядочныхъ людей. Шевыревъ и Погодинъ обвиняли Грановскаго въ пристрастіи къ западному развитію, къ извѣстному порядку опасныхъ идей. Грановскій поднялъ ихъ перчатку и смѣлымъ, благороднымъ возраженіемъ заставилъ ихъ покраснѣть. Онъ публично съ кафедръ спросилъ своихъ обвинителей, почему онъ долженъ ненавидѣть Западъ, и зачѣмъ, ненавидя его развитіе, сталъ бы онъ читать его исторію.

«Меня обвиняютъ,—сказалъ Грановскій,—въ томъ, что исторія служить мнѣ только для высказыванія моего воззрѣнія. Это отчасти справедливо, я имѣю убѣжденія и провожу ихъ въ моихъ чтеніяхъ; еслибы я не имѣлъ ихъ, я не вышелъ бы публично передъ вами для того, чтобы рассказывать въ большей или меньшей степени занимательно рядъ событій».

Отвѣты Грановскаго были такъ просты и мужественны, его лекціи такъ увлекательны, что славянскіе доктринеры притихли, а молодежь имъ рукоплескала. Послѣ курса былъ даже сдѣланъ опытъ примиренія. Западники давали Грановскому обѣдъ послѣ его заключительной лекціи. Славянофилы захотѣли участвовать. Пиръ былъ удаченъ; въ концѣ его послѣ многихъ тостовъ противники обнялись и поцѣловались. Но виноваты въ этомъ были лишь выпитые тосты.

Оказалось прежде всего невозможнымъ умиротворить Бѣлинскаго. Онъ слалъ своимъ друзьямъ грозныя письма изъ Петербурга, отлучалъ ихъ, предавалъ анаемѣ и писалъ все злое и злое въ «Отечественныхъ Запискахъ». Наконецъ онъ торжественно указалъ пальцемъ противъ «проказы» славянофильства и съ упрекомъ повторилъ: «вотъ вамъ она!»—онъ былъ правъ. Дѣло заключалось въ томъ, что нѣкогда любимый поэтъ, сдѣлавшійся святошей отъ болѣзни и славянофиломъ по родству, хотѣлъ стѣгнуть славянофиловъ умирающей рукою; по несчастію онъ избралъ для этого опять-таки полицейскую нагайку. Въ пьесѣ подъ заглавіемъ «Не наши» онъ называлъ Чаадаева отступникомъ отъ православія, Грановскаго — лжеучителемъ, растлѣвающимъ юношество, Г. — слугой, носящимъ блестящую ливрею западной науки, и всѣхъ трехъ — измѣнниками отечеству.

Обстоятельство это, разумѣется, прибавило много горечи въ отношенія обѣихъ враждующихъ партій. Нашлись люди, которые съ восторгомъ носились съ доносомъ въ стихахъ и читали его, гдѣ только было возможно. Имя поэта, имя чтеца, кругъ, въ которомъ онъ жилъ, кругъ, который имъ восхищался, — все это раздражало умы. Славяне и западники стали другъ противъ друга съ обнаженными мечами, враждующіе, непримиримые, и это уже навсегда — вплоть до нашихъ дней.

Видимую побѣду на первыхъ порахъ одержали западники.

«На этотъ разъ, — говоритъ современникъ, — побѣдителями вышли не славяне. Общественное мнѣніе громко рѣшило въ нашу (западническую) пользу. Въ глухую ночь, когда «Москвитянинъ» тонулъ и «Маякъ» (другой славянофильскій органъ) не свѣтилъ ему больше изъ Петербурга, Бѣлинскій, вскормивши своей кровью «Отечеств. Зап.», поставилъ на ноги ихъ побочнаго сына («Современникъ» Н. Некрасова) и далъ имъ обоимъ такой толчекъ, что они могли нѣсколько лѣтъ продолжать свой путь съ одними корректорами и батырщиками, литературными мытарями и книжными грѣшниками. Бѣлинскаго имени было достаточно, чтобы обогатить два журнальныхъ прилавка и сосредоточить все лучшее въ русской литературѣ въ тѣхъ редакціяхъ, въ которыхъ онъ принималъ участіе — въ то время, какъ таланты Кирѣевскаго и Хомякова не могли дать ни ходу, ни читателей «Москвитянину».

Побѣда западниковъ была однако, какъ мы скоро увидимъ, скорѣе мнимая, чѣмъ дѣйствительная. Славянофильство было только дискредитировано, но не уничтожено, и дискредитировано столько же статьями Бѣлинскаго, сколько собственной своей безтактностью. Основная его черта — полное отсутствіе политическаго

смысла, полная неопредѣленность гражданскихъ вождѣній проявилась въ немъ на первыхъ же порахъ.

Мыслящая часть общества стала на сторону западниковъ. Эти послѣдніе все же звали впередъ, а не назадъ; эти послѣдніе все же знали, что имъ дѣлать, и, несмотря на тягость окружающаго, знали, чего хотѣть, чего искать. Въ славянофилахъ же былъ силенъ элементъ отчаянія, заставлявшій ихъ хвататься за соломинку и питаться иллюзіями, чтобы спасти себя отъ полного маразма и унынія. Посмотрите, какъ разсуждали ихъ главари.

Хомяковъ твердилъ постоянно, что такъ какъ разумъ не можетъ дать никакого отвѣта на вопросы о Богѣ, безсмертіи души и т. д., *то* нужна вѣра. Въ сущности говоря, между недостаточностью разума и необходимостью вѣры никакой логической связи нѣтъ. Вѣра спасительна лишь въ томъ случаѣ, если она *есть*, никакая аргументація въ защиту ея необходимости не заставитъ меня проникнуться ею. Хомяковъ побуждалъ своихъ противниковъ лишь потому, что тѣ были робкіе люди, готовые постоянно прятать голову въ песокъ. Но однажды маленькій разговоръ съ поразительной ясностью открылъ всю несостоятельность его проповѣди.

«Присутствуя нѣсколько разъ при его спорахъ,—разсказываетъ одинъ современникъ,—я замѣтилъ, что Хомяковъ пугаетъ своихъ робкихъ противниковъ, и въ первый разъ, когда мнѣ самому пришлось помѣряться съ нимъ, самъ завлекъ его къ «страшнымъ» выводамъ. Хомяковъ щурился своей косою глазою, потряхивалъ черными, какъ смоль, кудрями и (увѣренный въ побѣдѣ) улыбался.

— Знаете ли что,—сказалъ онъ вдругъ, какъ бы удивляясь новой мысли,—не только однимъ разумомъ нельзя дойти до разумаго духа, развивающагося въ природѣ, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, какъ простое непрерывное броженіе, не имѣющее цѣли, и которое можетъ и продолжаться, и остановиться. А если это такъ, то вы не докажете и того, что исторія не оборвется завтра, не погибнетъ съ рулою Человѣческимъ, съ планетою.

— Я вамъ и не говорилъ,—отвѣтилъ я ему,—что я берусь это доказывать,—я очень хорошо зналъ, что это невозможно.

— Какъ?—сказалъ Хомяковъ, нѣсколько удивленный,—вы можете принимать эти страшные результаты свирѣпѣйшей имманенціи и въ вашей душѣ ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы отъ того, хочу я ихъ, или нѣтъ.

— Ну, вы *по крайней мѣрѣ* *) *последовательны*; однако, какъ человѣку надо *связнуть себѣ душу*, чтобы примириться съ этими печальными выводами нашей науки и привыкнуть къ нимъ!

*) Хорошо это: «по крайней мѣрѣ»!

— Докажите мнѣ, что *не наука* ваша истина, и я приму *ея* выводы также откровенно и безбоязненно.

— Для этого надобно вѣру.

— Но, Алексѣй Степановичъ, вы знаете: «на нѣтъ и суда нѣтъ».

Хомяковъ утверждалъ недостаточность разума. Но что другое какъ не тотъ же недостаточный разумъ показалъ ему необходимость вѣры? Получилось безысходное противорѣчiе. Но надо было схватиться за соломинку, чтобы не принимать результатовъ «свирѣпѣйшей имманенціи», надо было за отсутствіемъ истинной вѣры изобрѣсть ея суррогатъ — недостаточность разума.

Такимъ же суррогатомъ питался и И. Кирѣевскій. По поводу общезвѣстнаго его разсказа объ иконѣ, Влад. Соловьевъ дѣлаетъ немало остроумныхъ замѣчаній, говоря между прочимъ:

«По Кирѣевскому выходитъ, что предметъ народной вѣры всецѣло создается самой этой вѣрой: икона перестаетъ быть простой доской съ изображеніемъ и становится священнымъ и даже чудотворнымъ предметомъ лишь посредствомъ многолѣтняго накопленія молитвъ и возношеній: она, такъ сказать, намагничивается обращенной на нее душевной силой вѣрующаго народа. Но съ чего же этотъ народъ сталъ вдругъ въ нее вѣрить? По обыкновеннымъ религиознымъ понятіямъ истинная вѣра обусловлена извѣстными священными предметами, которые имѣютъ дѣйствительное значеніе сами по себѣ; икона не потому свята, что ей молятся, а, наоборотъ, ей молятся, потому что она свята. Если же допустить съ Кирѣевскимъ, что святость и чудесная сила сообщаются иконѣ только накопленіемъ людскихъ молитвъ и слезъ,—то, спрашивается, къ чему же первоначально обращались эти молитвы, передъ чѣмъ проливались эти слезы? Дѣтская вѣра простого народа обратила къ православію родоначальника славянофильства; но сама эта народная вѣра, по его же взгляду, могла быть первоначально лишь какимъ-то случайнымъ самообольщеніемъ или безсмысленнымъ фетишизмомъ. Такъ, даже при самыхъ лучшихъ чувствахъ, не удастся искусственное, преднамѣренное, субъективными мотивами вызываемое, сближеніе съ народомъ. Даже искренно вѣрующій славянофилъ все-таки остается внутренно чуждъ и непричастенъ народной вѣрѣ. Онъ вѣритъ въ народъ и въ его вѣру, но вѣдь народъ вѣритъ не въ самого себя и не въ свою вѣру, а въ независимые отъ него и отъ его вѣры религиозные предметы».

Сколько искусственного, дѣланнаго въ такой вѣрѣ и сколько душевнаго отчаянія въ этихъ попыткахъ. На совершенно справедливую мысль, что Россія велика и могуча, что у ней есть будущее, несмотря *ни на что*, славянофилы нагромодили настроенное зданіе — храмъ безъ Бога и украсили его иконами, къ вѣрѣ въ которыхъ возбуждали сами себя! Совершенно вѣрно замѣчено про нихъ:

«Въ первую минуту, когда Хомяковъ почувствовалъ пустоту

душевную, онъ поѣхалъ гулять по Европѣ во время соннаго и скучнаго царствованія Карла X-го, докончивъ въ Парижѣ свою забытую трагедію «Ермакъ» и потолковавши со всякими далматинами и чехами на обратномъ пути, — онъ воротился. Все скучно! По счастью открылась турецкая война, онъ пошелъ въ полкъ *безъ нужды, безъ цѣли* и отправился въ Турцію. Война кончилась и кончилась другая забытая трагедія «Дмитрій Самозванецъ». Опять скука!»

«Въ этой скукѣ, въ этой тоскѣ, при этой странной и страшной обстановкѣ, мелькнула какая-то новая мысль; едва высказанная, она была осмѣяна; тѣмъ яростнѣе бросился на отстаиваніе ея Хомяковъ, тѣмъ глубже она вошла въ плоть и кровь Кирѣевского. Сѣмя было брошено. На поствѣ и защиту всходовъ пошла сила первыхъ славянофиловъ. Надо было людей новаго поколѣнія, не свихнутыхъ, не подломленныхъ, которыми мысль ихъ была бы принята не страданіемъ, не болѣзнью, какъ до нея дошли учителя, а передачей, наслѣдіемъ. Молодые люди откликнулись на ихъ призывъ, люди Станкевича кружка примыкали къ нимъ, и въ ихъ числѣ такія сильныя личности, какъ К. Аксаковъ и Юрій Самаринъ».

II. Центръ московскаго славянофильства—домъ Аксаковыхъ.

Думаю, что, нисколько не преувеличивая дѣла, можно считать домъ Аксаковыхъ центромъ московскаго славянофильства. Здѣсь на самомъ дѣлѣ они любили собираться своимъ кружкомъ или «скопомъ», какъ они выражались; здѣсь ораторствовалъ Хомяковъ, здѣсь выросъ «пророкъ» славянства — Константинъ Аксаковъ, здѣсь же напитался славянскимъ духомъ его знаменитый братъ—Иванъ Сергѣевичъ. Обстановка этого дома, его обиходъ, мелкія и крупныя подробности его жизни — все это отпечатлѣлось на славянофильской доктринѣ въ ея окончательномъ видѣ, все это носитъ на себѣ основной и рѣзко-замѣтный характеръ барства, — того барства, которымъ когда-то такъ славилась Москва. Полагаю, что барскаго характера разбираемой доктрины никто отрицать не станетъ, хотя почему-то никто до сей поры не подчеркивалъ его. А между тѣмъ, какъ увидитъ читатель, — здѣсь-то и кроется ключъ къ объясненію многихъ и многихъ особенностей славянофильства. Не хотѣли отмѣтить до сей поры, что и это

ученіе, какъ почти всѣ ученія, волновавшія до сей поры міръ и людей,—есть *классовое* порожденіе.

Характеристику «дома» начну съ отца—С. Т. Аксакова.

«Сергѣй Тимофеевичъ, — пишетъ Панаевъ, — былъ большой хлѣбосоль и гордился этою московскою добродѣтелью. Аксаковы тогда (въ 40-хъ годахъ) жили въ большомъ отдѣльномъ деревянномъ домѣ на Смоленскомъ рынкѣ. Для многочисленнаго семейства Аксакова требовалась многочисленная прислуга. Домъ его былъ биткомъ набитъ дворнею. Это была уже не городская жизнь въ томъ смыслѣ, какъ мы ее понимаемъ, а патріархальная, ши-



С. Т. Аксаковъ.

рокая, помѣщичья жизнь, перенесенная въ городъ. Домъ Аксакова и снаружи, и внутри, по устройству и распоряженію совершенно походилъ на деревенскіе барскіе дома; при немъ были: «обширный дворъ, людскія, садъ и даже бани въ саду». «Домъ Аксаковыхъ, — говоритъ въ другомъ мѣстѣ Панаевъ, — съ утра до вечера былъ полонъ гостями. Въ столовой ежедневно накрывался длинный и широкій столъ по крайней мѣрѣ на 20 кувертовъ. Хозяева были такъ просты въ обращеніи со всѣми посѣщавшими ихъ, такъ безцеремонны и радушны, что къ нимъ нельзя было не привязаться. Я по крайней мѣрѣ полубилъ ихъ всей душою».

Во главѣ семьи и дома стоялъ Сергѣй Тимофеевичъ Аксаковъ, знаменитый впослѣдствіи авторъ «Семейной Хроники».

«Онъ былъ высокъ ростомъ, крѣпкаго сложенія и не обнаруживалъ еще ни малѣйшихъ признаковъ старости. Выраженіе лица его было необыкновенно симпатично, онъ говорилъ всегда звучно и сильно, но голосъ его превращался въ голосъ стентора, когда онъ декламировалъ стихи, а декламировать онъ былъ величайшій охотникъ». Характеръ добродушной патріархальности, лежавшій на всемъ складѣ домашней обстановки Сергѣя Тимофеевича, остался неизмѣннымъ вплоть до самой смерти его. Панаевъ знавалъ домъ Аксаковыхъ въ самомъ концѣ тридцатыхъ годовъ и началъ сороковыхъ. Но такимъ же его рисуютъ люди, которые столкнулись съ Сергѣемъ Тимофеевичемъ въ срединѣ пятидесятыхъ годовъ. «Домъ Аксакова, — пишетъ Лонгиновъ, — былъ однимъ изъ пріятнѣйшихъ въ Москвѣ. Нравственное вліяніе Сергѣя Тимофеевича было ощутительно не въ одномъ семействѣ. Примѣрный супругъ, отецъ, братъ, онъ былъ и образцомъ друзей, къ которому шли за совѣтомъ и помощью его многочисленные друзья. Онъ умѣлъ съ перваго раза приобретать любовь и довѣріе всякаго и никому не отказывалъ въ своемъ содѣйствіи или участіи, а, напротивъ, самъ вызывался на услуги. Это была душа чистая, исполненная христіанскихъ чувствъ, и въ то-же время умъ свѣтлый, прямой, соединенный съ характеромъ откровеннымъ, возвышеннымъ и энергическимъ. Онъ сохранилъ до глубокой старости, среди тяжкихъ недуговъ, участіе ко всему прекрасному и силу воли вмѣстѣ съ какою-то младенческою ясностью души».

Эта-то «младенческая ясность души», переданная Сергѣемъ Тимофеевичемъ по наслѣдству обоимъ своимъ знаменитымъ сыновьямъ, и составляла, кажется, отличительное свойство характера главы дома Аксаковыхъ. Лонгиновъ говоритъ еще объ «энергіи» и «возвышенности»; но, думается, совершенно напрасно. По крайней мѣрѣ во всемъ, что вышло изъ-подъ пера Сергѣя Тимофеевича, ни энергіи, ни возвышенности не видно, а видна, кромѣ огромнаго чисто стихійнаго литературнаго таланта (кстати сказать и до сей поры неоцѣненнаго), именно эта младенческая ясность души, это незлобіе духа, — цѣликомъ обломовскаго, и барскаго, словомъ, — духа легкой привольной жизни.

Сергѣй Тимофеевичъ — фигура замѣтная. Не напиши онъ ни одной строчки, все-же нельзя было-бы миновать его характеристики, такъ какъ онъ славенъ своими сыновьями: а ихъ именъ

не вычеркнетъ историкъ умственного развитія Россіи, какъ бы ни относился онъ къ славянофильству. Я посвящу ему нѣсколько страницъ, подчеркивая въ разсказѣ лишь тѣ черты, которыя характерны для настроенія «славянъ».

Онъ родился въ Уфѣ 20-го сентября 1791 года. Кто читалъ «Семейную Хронику», тотъ помнитъ, до какихъ чрезвычайныхъ, рѣзкихъ проявленій доходила болѣзненная впечатлительность маленькаго Багрова. Это черта автобіографическая, какъ и все остальное въ «Семейной хроникѣ» и «Дѣтскихъ годахъ Багрова-внука», гдѣ надо только подставить вмѣсто Багровыхъ Аксаковыхъ, чтобы получить правдивую лѣтопись событій первыхъ лѣтъ жизни Сергѣя Тимофеевича. Обаятельная фигура интеллигентной, красивой, энергичной и вмѣстѣ съ тѣмъ безумно нѣжной матери маленькаго Багрова хотя и отзывается идеализаціей, но едва-ли слишкомъ противорѣчитъ дѣйствительности. Въ «Семейной Хроникѣ» есть страница классическая въ смыслѣ изображенія героизма материнскаго и вообще семейнаго чувства, и роль героини играетъ здѣсь мать Сергѣя Тимофеевича. Узнавши, что сынъ ея, отданный въ Казанскую гимназію, неожиданно захворалъ, — Аксакова бросила все и, несмотря на распутицу, пустилась въ путь.

«Въ десять дней, — сказано въ «Семейной Хроникѣ», — дотащилась моя мать до большого села Мурзихи на берегу Камы; здѣсь вышла уже большая почтовая дорога, крѣпче уѣзженная, а потому ѣхать по ней представлялось болѣе возможности, но зато изъ Мурзихи надобно было переѣхать черезъ Каму, чтобы попасть въ село Шуранъ, находящееся въ 80 верстахъ отъ Казани. Кама еще не прошла, но надулась и посинѣла; наканунѣ перенесли черезъ нее на рукахъ почту, но въ ночь пошелъ дождь, и никто не соглашался переправить мою мать и ея спутниковъ на другую сторону. Мать моя принуждена была ночевать въ Мурзихѣ; боясь каждой минуты промедленія, она сама ходила изъ дома въ домъ по деревнѣ и умоляла добрыхъ людей помочь ей, рассказывала свое горе и предлагала въ вознагражденіе все, что имѣла. Нашлись добрые и сильные люди, понимавшіе материнское сердце, которые общали ей, что если дождь въ ночь уймется и къ утру хоть крошечку подмерзнетъ, то они берутся благополучно доставить ее на ту сторону и возмуть то, что она пожалуетъ имъ за труды. До самой зари молилась мать моя, стоя на колѣняхъ передъ образомъ той избы, гдѣ провела ночь. Теплая материнская молитва была услышана: вѣтеръ разогналъ облака и къ утру морозъ высушилъ дорогу и тонкимъ ледочкомъ затянулъ лужи. На зарѣ шестеро молодыхъ, рыбаковъ по промыслу, выросшихъ на Камѣ и привыкшихъ обходиться съ нею во всякихъ ея видахъ, каждый съ шестомъ или багромъ, призвавъ за спину нетяжелую поклажу, перекрестясь на церковный крестъ, взяли подъ руки обѣихъ женщинъ, обутихъ въ мужскіе

сапоги, дали шесть Федору, поручивъ ему тащить *чуманъ*, т. е. широкий лубокъ, загнутый спереди кверху и привязанный на веревкѣ, взятый на тотъ случай, что неровно барыня устанетъ,—и отправились въ путь, пустивъ впередъ самаго расторопнаго изъ своихъ товарищей для ощущиванія дороги. Дорога лежала вкось, и надобно было пройти около трехъ верстъ. Переходъ черезъ огромную рѣку въ такое время такъ страшенъ, что только привычный человекъ можетъ совершить его, не теряя бодрости и присутствія духа. Федоръ и Параша просто ревѣли, прощались съ бѣлыми свѣтомъ и со всѣми родными, и въ иныхъ мѣстахъ надобно было силою заставлять ихъ идти впередъ, но мать моя съ каждымъ шагомъ становилась бодрѣе и даже веселѣе. Провожатые поглядывали на нее и привѣтливо потряхивали головами. Надобно было обходить поляны, перебираться, по сложеннымъ вмѣстѣ шестамъ, черезъ трещины; мать моя ни за что не хотѣла сѣсть на чуманъ, и только тогда, когда дорога, подошедъ къ противоположной сторонѣ, пошла возлѣ самаго берега по мелкому мѣсту, когда вся опасность миновала, она почувствовала слабость; сейчасъ постлали на чуманъ мѣховое одеяло, положили подушки, мать легла на него, какъ на постель, и почти лишилась чувствъ: въ такомъ положеніи дотащали ее до ямскаго двора въ Шуранѣ. Мать моя дала сто рублей своимъ провожатымъ, но честные люди не захотѣли ими воспользоваться; они взяли по синенькой на брата (по пяти рублей ассигнаціями). Съ изумленіемъ слушая изъясненія горячей благодарности и благословенія моей матери, они сказали ей на прощанье: «дай вамъ Богъ благополучно доѣхать», и немедленно отправились домой, потому что мѣшкаты было некогда: рѣка прошла на другой день».

Безумно-нѣжно любимый, подъ крылышкомъ у матери, готовый воспринять смертную казнь, чтобы только сыну ея было хорошо,—росъ Сергѣй Тимофеевичъ въ дворянскомъ гнѣздѣ. Жизнь была привольная, хотя и не роскошная, и это приволье чувствовалось во всемъ: и въ природѣ—тогда, въ началѣ нашего вѣка, неограбленной еще человекомъ, и въ воспитаніи, не подчиненномъ никакой ферулѣ, и въ окружающей помѣщичьей средѣ, провинціальной, тихой въ собственномъ кругу добродушной. Крѣпостной трудъ былъ тѣмъ пуховикомъ, на которомъ нѣжились и размякали холеные члены старыхъ и молодыхъ Обломовыхъ—отца Сергѣя Тимофеевича, добраго, мягкаго человека, неспособнаго ни на дурное, ни на хорошее, его самого, будущаго знаменитаго писателя, а большую часть жизни просто русскаго барина, про котораго трудно даже сказать что-нибудь опредѣленное. Нѣсколько противорѣчить этой картинѣ фигура Багрова-дѣда, энергическая, отчетливо выраженная, но и она въ сущности мало нарушала тишь и благодать Аксаковщины.

10-ти лѣтъ отъ роду Сергѣя Тимофеевича отдали въ Казанскую гимназію, а 4 года спустя онъ совершенно неожиданно по-

палъ въ студенты. Что это былъ за студентъ 14-ти-лѣтній мальчикъ, плохо даже грамотный, — представить не трудно, но такъ какъ въ Петербургѣ распорядились открыть Казанскій университетъ, то очевидно нужны были и студенты. И вотъ, часть гимназій была отдана подъ университетъ, часть преподавателей назначена профессорами, а лучшіе изъ учениковъ старшихъ классовъ «произведены» въ студенты. Благодаря протекціи, въ число послѣднихъ попалъ и С. Аксаковъ, хотя самъ онъ сознается, что по познаніямъ своимъ далеко не заслуживалъ такого «производства» и, «слушая университетскія лекціи, онъ въ то же время весьма благоразумно продолжалъ по нѣкоторымъ предметамъ учиться въ гимназій».

«Мало вынесъ я — рассказываетъ самъ Аксаковъ — научныхъ свѣдѣній изъ университета не потому, что онъ былъ еще очень молодъ, не полонъ и не устроенъ, а потому, что я былъ слишкомъ молодъ и дѣтски увлекался въ разныя стороны страстностью своей природы. Во всю жизнь чувствовалъ я недостаточность этихъ научныхъ свѣдѣній, особенно положительныхъ знаній, и это много мѣшало мнѣ и въ служебныхъ дѣлахъ, и литературныхъ занятіяхъ».

Жизнь очень и очень многихъ старыхъ баръ складывалась безъ всякихъ душевныхъ бурь, безъ всякихъ тревоженій. Шла она благополучно въ гимназій, въ университетѣ, на службѣ и тихо угасала на перинѣ, безъ исканій, безъ уклоненій въ сторону. Своеобразный фатумъ, пожалуй даже предопредѣленіе, изложенное въ разныхъ грамотахъ, пожалованныхъ русскому дворянству, — руководила ею. Надо было только не выходить изъ рамокъ. Но вѣдь обломовщина справедливо считается основной чертой старо-русскаго характера, и «горе отъ ума» для него гораздо менѣе характерно, чѣмъ страданіе отъ ожирѣнія.

«Гора отъ ума» С. Аксаковъ не зналъ совершенно. Жизнь какъ-то проходила мимо него, не зацѣпляя его и лишь добродушно улыбаясь ему въ отвѣтъ на его постоянную добродушную улыбку. Въ немногія строки укладывается «бурный періодъ» его юности.

«Въ 1808 г. семейство Аксаковыхъ переѣзжаетъ въ Петербургъ и, по совѣту Карташевскаго, Сергѣй Тимофеевичъ опредѣляется переводчикомъ комиссіи составленія законовъ. Какъ это мѣсто, такъ и время опредѣленія на него было такого рода, что, не будъ молодой чиновникъ всецѣло поглощенъ сцениче-

скими интересами. онъ могъ-бы весьма значительно расширить свой умственный кругозоръ. Онъ это не сдѣлалъ и даже его увлечение сценой прошло безслѣдно, ибо за всю жизнь Сергѣй Тимофеевичъ, если не считать переводовъ, не обмолвился ни единой драматической строчкой, и такимъ образомъ все его общеніе съ театральными сферами сводилось къ тому, что онъ вертѣлся за кулисами».

Прибавлять къ этому нечего: впечатлѣнія закулисной жизни нисколько не нарушали «младенческой ясности души», а когда эта послѣдняя захотѣла опредѣлится, то естественно, что она вылилась въ теорію, вполне соотвѣтствующую ей по своей наивности.

Изъ воспоминаній С. Аксакова мы знаемъ, что еще студентомъ въ Казани онъ не долбилъ Карамзина и пришелъ въ великій восторгъ отъ знаменитаго шишковскаго «Разсужденія о старомъ и новомъ слоgѣ» и прибавленій къ нему. «Эти книги совершенно свели меня съ ума — рассказываетъ Сергѣй Тимофеевичъ.—Я увѣровалъ въ каждое ихъ слово, какъ въ святыню. *Русское* мое направленіе и *враждебность* (откуда-бы быть ей, кажется?) ко всему иностранному укрѣпились сознательно, и темное чувство національности выросло до исключительности!» Еще болѣе великъ былъ восторгъ Аксакова, когда одинъ изъ его сослуживцевъ по комиссіи составленія законовъ—Казначеевъ—оказался роднымъ племянникомъ Шишкова и когда этотъ племянникъ, такой-же ярый славянофилъ, какъ и его дядя, узнавъ объ образѣ мыслей Сергѣя Тимофеевича, обѣщалъ его на слѣдующій же день познакомить съ адмираломъ. Знакомство состоялось, и Сергѣй Тимофеевичъ сталъ домашнимъ человѣкомъ у творца теоріи, по которой слѣдовало говорить вмѣсто «министръ» «дѣловецъ государственный», вмѣсто «ассистентъ»—«присутственикъ», вмѣсто «аллея»—«прохожъ» и т. д.

Очевидно, что подъ такимъ вліяніемъ «русское мое направленіе» и «враждебность (!) ко всему иностранному» должны были еще укрѣпляться до крѣпости замороженной воды. Увлечшись—или, лучше сказать, на обломовскомъ жаргонѣ—*допустить* себя увлечь націонализмомъ, Аксаковъ восторгался напр. Николевыми и называлъ его безсмертнымъ, хотя Николевъ знаменитъ лишь стихами, передъ которыми спасуетъ самъ Тредьяковскій. Возьмите хотя-бы такой вотъ апофеозъ Россіи:

Блесталъ конь бѣлъ подъ нимъ, какъ сѣгъ Атлантскихъ горъ,
Стрѣла летяща—бѣгъ, свѣча горяща—взоръ,

Дыханье — дымъ и огонь, грудь и копыта — камень,
На немъ Малекъ-Адель — или сраженій пламень.

Такими стихами Аксаковъ восторгался. «Россiя!» — твердилъ онъ. А вотъ удивительно, какъ напр. событія 1812 г. прошли совсѣмъ мимо него. По крайней мѣрѣ С. А. Венгеровъ говоритъ:

«Время нашествiя Наполеона и слѣдующіе два года Сергѣй Тимофеевичъ провелъ въ деревнѣ. Онъ не только не принялъ никакого участiя въ событіяхъ этихъ бурныхъ лѣтъ, но какъ-то они даже впечатлѣнiя никакого на него не произвели, такъ что въ его воспоминанiяхъ, необыкновенно подробныхъ и прямо даже утомительныхъ тѣмъ, что въ нихъ обстоятельно говорится буквально о каждомъ пустякѣ, *для событiй отечественной войны, какъ и для всѣхъ остальныхъ явленiй общественной жизни, и мѣста не нашлось даже.* Не можемъ не подчеркнуть этого обстоятельства, потому что оно очень характерно для того, чтобы показать, до чего умственная жизнь молодого Аксакова была заполонена декламацией и всякими театральными интересами».

Въ періодъ отечественной войны Аксаковъ не дѣлалъ даже того, что дѣлали всѣ остальные дворяне, — не кричалъ «ура» и не снаряжалъ батальоновъ изъ дворовыхъ. Онъ мирно почивалъ въ въ своей Аксаковкѣ — истинный Обломовъ во всемъ, что касалось общественности.

Въ сущности его жизнь превращается въ календарь. Въ 1816 году онъ женился; 1816—1820 гг. прожилъ исключительно въ деревнѣ, въ 1826 г. поселился на постоянное жительство въ Москвѣ; въ 1827 для увеличенiя доходовъ сталъ цензоромъ и наивно жестоко преслѣдовалъ «Московскій Телеграфъ» Полевого, — лучший и несомнѣнно прогрессивный журналъ своего времени, служилъ въ Межевомъ училищѣ, сначала инспекторомъ, потомъ директоромъ. и вѣроятно умеръ-бы на перинѣ, еслибы нѣкоторыя обстоятельства не пробудили его громаднаго, но спавшаго все время литературнаго таланта.

III. Литературная дѣятельность С. Т. Аксакова.

Есть таланты дѣятельные, энергичные, ищущіе путей; есть другіе — вялые, совершенно безсознательные, безъ настоящаго внутренняго импульса, которые ждутъ, чтобы ихъ натолкнули на работу, указали-бы имъ настоящій родъ творчества, и только

въ такомъ случаѣ «исполняютъ они дѣло свое». Обломовъ-Аксаковъ 50 лѣтъ своей жизни подчинялся тому, про что ему говорили—«это хорошо». Онъ восторгался Шишковымъ, Николевымъ, Кукольниквымъ—даже водевилистомъ Писаревымъ. Ему натолковали, что это «геній», и какъ-разъ *такимъ* геніемъ ему и хотѣлось быть. Онъ переводилъ Буало, ложноклассическія трагедіи, сочинялъ водевили и былъ какъ нельзя болѣе доволенъ собою. Онъ и не подозрѣвалъ даже, какая въ немъ скрыта громадная синтезирующая машина дѣйствительности! Онъ настойчиво приподнималъ свой слогъ до «высокаго штиля»; свои чувства—до «громъ побѣды»; свои мысли—до «теоріи русскаго націонализма», не подозрѣвая даже, что все это совершенно не нужно, что это—лишь обломовщина, приподнявшаяся съ кровати и старающаяся продрать глаза. Ему невѣдомо было, чтѣ онъ зналъ, чтѣ онъ чувствовалъ: знанія и чувства дремали, а съ просонокъ можно было перекрещивать цѣлыя страницы «Московского Телеграфа»—якобы «вреднаго» и антипатріотическаго журнала русскаго.

Гоголь разбудилъ С. Т. Аксакова; Гоголь—это таинственно страшная сила, неоцѣнимая и неоцѣненная, чей смѣхъ, надѣюсь, будетъ еще преслѣдовать и нашу русскую жизнь вообще—еще много и много лѣтъ, — показалъ Аксакову его самого.

С. Тим. сталъ писать очень рано—лѣтъ 16-ти; сначала—мадригалы, потомъ—пасторали и въ сущности всегда и повсюду перевоплощалъ свой первый мотивъ:

Другъ весны, пѣвецъ любезнѣйшій,
Будь единой мнѣ оградой,
Уменьши тоску жестоку,
Что снѣдаетъ сердце страстное,
Пой красы моей возлюбленной,
Пой любовь мою къ ней пламенну,
Исчислай мои страданья всѣ,
Исчислай моей дни горести и т. д.

Неискренность и выдумка, самовзвнчиваніе и самоподыманіе на дыбы—вотъ краткая характеристика литературной дѣятельности Аксакова за первый періодъ. Знакомствомъ съ Гоголемъ пачался второй—плодотворнѣйшій:

«Извѣстно,—говорить С. А. Венгеровъ,—что къ Гоголю дурно относились не только самые старинные литературные друзья Сергѣя Тимофеевича—разные ископаемые приверженцы Шишковскихъ теорій, но почти вся тогдашняя литература. Еще люди добродушные, вродѣ послѣдняго изъ прежнихъ знакомцевъ Сергѣя Тимофеевича—Загоскина, просто не понимали Гоголя, но большинство литераторовъ прямо

возненавидѣло малороссійскаго «шута», когда публика начала зачитываться его «сказками». Исключеніе составлялъ молодой московскій университетскій кружокъ, какъ въ профессорской своей части, такъ еще болѣе въ своей студенческой части, группировавшейся около проходившихъ тогда университетскій курсъ Константина Аксакова, Станкевича и Бѣлинскаго. Въ своихъ неоконченныхъ воспоминаніяхъ о Гоголѣ и Сергѣй Тимофеевичъ прямо говоритъ, что только одна московская университетская молодежь и прозрѣла сразу, что въ лицѣ Гоголя родился гениальный писатель.

Во главѣ этихъ энтузіастовъ шелъ Константинъ Сергѣевичъ, сразу повысившій температуру отношеній, завязавшихся въ началѣ тридцатыхъ годовъ между домою Сергѣя Тимофеевича и Гоголемъ, до точки, которой они никогда бы не достигли, еслибы домъ Аксаковыхъ имѣлъ своимъ представителемъ одного только степеннаго и уже пожилого тогда Сергѣя Тимофеевича. Константинъ Аксаковъ относился къ Гоголю съ такимъ молитвеннымъ восторгомъ, что заражалъ имъ рѣшительно всѣхъ окружающихъ, и въ результатѣ автора «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки» такъ тепло принимали въ домѣ Сергѣя Тимофеевича, такъ баловали и окружали всякаго рода предупредительностью, что и онъ, въ свою очередь, не могъ не платитъ такимъ же отношеніемъ. Цѣлыхъ двадцать лѣтъ, съ 1832 г. до самой смерти Гоголя, тянулась эта дружба, поддерживаемая и личными сношеніями, и перепиской, и вообще всякаго рода духовнымъ общеніемъ. Въ домѣ Сергѣя Тимофеевича Гоголь обыкновенно читалъ въ первый разъ свои новыя произведенія, и въ свою очередь Сергѣй Тимофеевичъ Гоголю первому читалъ свои беллетристическія произведенія еще въ то время, когда ни онъ самъ, ни его окружающіе не подозрѣвали въ немъ будущаго знаменитаго писателя».

Нельзя даже и сомнѣваться въ томъ, что самъ Сергѣй Тимофеевичъ не только-бы не оцѣнилъ Гоголя, а отнесся бы къ нему прямо враждебно, такъ какъ на самомъ дѣлѣ отъ «Мертвыхъ Душъ» къ соловьинымъ пѣснямъ никакого моста перекинуть нельзя. Къ счастью на этотъ разъ нашлись другіе «толкователи», и во главѣ ихъ стоялъ старшій любимый сынъ Сергѣя Тимофеевича — Константинъ, который, по поводу перваго тома «Мертвыхъ Душъ», издалъ свою извѣстную брошюру «Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя...»

Основная мысль брошюры заключается въ томъ положеніи, что въ «Мертвыхъ Душахъ» мы видимъ величавое эпическое созерцаніе древнихъ, утраченное въ продолженіе вѣковъ и снова возникающее передъ нами во всей своей неувыдаемой красотѣ, и что у Гоголя мы встрѣчаемъ такую «полноту и конкретность» созданія, какою отличаются только созданія Гомера или Шекспира. «Только Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь, — говоритъ К. Аксаковъ, — обладаютъ этой тайной искусства». Подобно тому, какъ у Гомера мы видимъ «всѣ образы природы человѣка, заключенные въ созерцаемомъ

міръ, и—соединенные чудно—глубоко и истинно шумятъ волны, несется корабль, враждуютъ и дѣйствуютъ люди», такъ и поэма Гоголя «представляетъ цѣлую сферу жизни, цѣлый міръ, гдѣ, какъ у Гомера, свободно шумятъ и блещутъ волны, всходитъ солнце, красуется вся природа и живетъ человѣкъ». Большинство читателей, по мнѣнію Аксакова, не подготовлено къ тому, чтобы вполне понять и оцѣнить поэму Гоголя, именно потому, что утратило вкусъ къ истинной классической красотѣ и приходитъ въ недоумѣніе передъ непривычнымъ или, лучше сказать, забытымъ характеромъ поэтического творчества. Въ первыхъ-же строкахъ брошюры К. Аксаковъ заявляетъ о «Мертвыхъ Душахъ», что передъ нами возникаетъ новый характеръ созданія, является оправданіе цѣлой сферы поэзіи,—сферы, давно унижаемой, древній эпосъ возстаетъ передъ нами». Выясняя величіе и всеобъемлющее значеніе древняго эпоса, К. Аксаковъ отмѣчаетъ постепенное «обмеленіе его на Западѣ» и затѣмъ провозглашаетъ наступленіе новой эры художественнаго творчества въ поэмѣ Гоголя, гдѣ «тотъ-же глубоко проникающій и все видящій эпическій взоръ».

«К. С. Аксаковъ,—говоритъ Н. Шенрокъ,—замѣчаетъ, что «все—и муха, надобѣдающая Чичикову, и собаки, и дождь, и лошади отъ Засѣдателя до Чубараго, и даже бричка—все это, со всею своею тайною жизни. Гоголемъ постигнуто и перенесено въ міръ искусства». Въ грубую ошибку впадаютъ тѣ читатели и рецензенты, которые прежде всего хотятъ видѣть въ новомъ произведеніи анекдотъ, спѣшатъ искать завязку романа, «на все это молчитъ поэма», потому что такое возрѣніе въ отношеніи къ ней слишкомъ близорукое и грубое, оно устремляется на мелочи и частности и не видитъ отраженія въ поэмѣ «безбрежнаго океана жизни». Столь-же недѣльнымъ представляется автору брошюры недовольство нѣкоторыхъ критиковъ тѣмъ, что «лица у Гоголя смѣняются безъ особенной причины, тогда какъ это именно и является естественнымъ слѣдствіемъ истиннаго эпического созерцанія, въ которомъ «одинъ міръ объемлетъ всѣ эти лица, связуя ихъ глубоко и неразрывно единствомъ внутреннимъ», и «древній, важный эпосъ является въ своемъ величавомъ теченіи!» Но особенно широкая надежда возлагается К. С. Аксаковъ на продолженіе поэмы и видитъ въ первомъ томѣ,—безъ сомнѣнія, подъ влияніемъ самого Гоголя,—лишь начало рѣки, «дальнѣйшее теченіе которой, Богъ знаетъ, куда приведетъ насъ и какія явленія представитъ». Уже въ первомъ томѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ описаніи скорой ѣзды Чичикова, критикъ предполагаетъ отчасти вскрытіе завѣсы съ «общаго субстанціального чувства русскаго».

Вся статья вообще преисполнена самого восторженнаго молодого увлеченія, внушеннаго автору и личнымъ расположеніемъ къ Гоголю, и неувыдаемой прелестью его созданій,—увлеченія, доходящаго до

того, что, соглашаясь признать слогъ Гоголя не образцовымъ, критикъ неожиданно восклицаетъ: «И слава Богу! Это былъ бы недостатокъ».

Такіе восторженные и въ сущности далеко не безосновательныя рѣчи старшаго любимаго сына не могли не подчинить себѣ Сергѣя Тимофеевича. Художественное чутье подсказывало ему, что въ поэмѣ Гоголя дѣйствительно есть что-то высокое, неразгаданное, а съ другой стороны какъ прекрасно шла къ русофильскому міросозерцанію мысль, что у насъ «свой Гомеръ, свой Шекспиръ...» Но что дѣлалъ *наши* Гомеръ и Шекспиръ? Онъ только довѣрялся своему чувству, только описывалъ жизнь, какъ видѣлъ и понималъ ее. Такъ скоро сталъ поступать и самъ С. Т. Аксаковъ. Въ отношеніи къ нему, геній Гоголя былъ жезломъ Моисея, раскрывающимъ источникъ живой воды среди голой и мертвой пустыни.

«Близость съ Гоголемъ до страннаго скоро повліяла на Сергѣя Тимофеевича, сообщила его петербургской дѣятельности направление діаметрально-противоположное тому, котораго онъ до сей поры держался». Онъ пересталъ «выдумывать», пересталъ взвѣнчивать себя на «высокій штиль», садясь за письменный столъ, — а это все, что требовалось. Онъ началъ рассказывать публикѣ то, что дѣйствительно зналъ, любилъ и помнилъ. Онъ зналъ природу средней полосы Россіи, любилъ ее и до мелочности помнилъ всѣ ея впечатлѣнія, зналъ, любилъ и помнилъ преданія собственнаго семейства и, довѣрившись своей любви, создалъ свои знаменитыя «Записки объ уженіи рыбы», «Записки ружейнаго охотника» и наконецъ свою «Семейную Хронику», — этотъ лучшій изъ извѣстныхъ мѣ историческихъ документовъ стародворянской жизни.

Охотничьи записки Сергѣя Тимофеевича имѣли громкій успѣхъ. Имя автора, до тѣхъ поръ извѣстное лишь его литературнымъ пріятелямъ, прогремѣло по всей читающей Россіи. Его изложеніе было признано образцомъ прекраснаго «стиля», его описанія природы — дышущими поэзіей, его характеристика «птицъ и звѣрей» — мастерскими портретами. «Въ вашихъ птицахъ больше жизни, чѣмъ въ моихъ людяхъ», — говорилъ ему Гоголь. И правда, подъ перомъ Аксакова эти птицы жили своей несложной красивой жизнью...

Но «Записки объ уженіи рыбы» и «Ружейнаго охотника» были лишь пробами талантливаго пера. Весь обломовскій геній Аксакова проявился лишь въ его знаменитой «Семейной Хро-

никъ». Такой преданности семейнымъ преданіямъ, такой любви къ родному углу, такой памяти о своей роднѣ—вы не найдете ни въ какой другой русской книгѣ. Раскрывши первую страницу, вы уже видите, чѣмъ вспоено, вскормлено, на чѣмъ выросло сердце Сергѣя Тимофеевича Аксакова, что дало ему устои на всю жизнь, что образовало его взглядъ, его темпераментъ. Любовь къ прошлому, къ своему родному—проникаетъ каждую строку и неотразимо дѣйствуетъ на читателя.

Наряду съ пейзажемъ и общимъ колоритомъ свѣжести и непосредственности,—говоритъ С. А. Ветгеровъ,—остается неизмѣннымъ въ «Семейной Хроникѣ» и другой элементъ, сообщающій такую высокую художественную цѣнность звѣроловнымъ книжкамъ Сергѣя Тимофеевича,—его умѣнье давать яркія и выпуклыя характеристики. И такъ въ тѣхъ же звѣроловныхъ книжкахъ это умѣнье тоже имѣетъ своимъ источникомъ удивительную беллетрическую память Сергѣя Тимофеевича, пронесшую чрезъ многія десятилѣтія сотни и тысячи характерныхъ подробностей. Само собою разумѣется, что человѣкъ, проявившій поразительную наблюдательность относительно нравовъ птицъ, рыбъ и звѣрей, тѣмъ въ большей степени долженъ былъ проявить ее, когда дѣло коснулось близкихъ ему людей и обстановки, среди которой онъ провелъ наиболѣе впечатлительные годы жизни. И дѣйствительно, число сохранившихся въ памяти Сергѣя Тимофеевича подробностей о помѣщичьей жизни было такъ велико, что въ «Дѣтскихъ годахъ Вагрова-внука» оно ему даже сослужило весьма дурную службу, загромодивъ рассказъ чрезмѣрнымъ множествомъ мелочей. Но въ «Семейной Хроникѣ» именно это поразительное богатство деталей придало всему произведенію удивительную сочность и жизненность. Кто знакомъ съ «Семейной Хроникой» даже только по вошедшему во всѣ хрестоматіи «Доброму дню Степана Михайловича», согласится конечно, что едва-ли во всей русской литературѣ есть другая болѣе полная физиологическая картина помѣщичьей жизни добраго стараго времени, съ ея удивительною смѣсью симпатичнѣйшаго добродушія и дикаго, подчасъ даже звѣрскаго самодурства. И какъ во всѣхъ истинныхъ шедеврахъ литературы яркость и полнота картинъ и характеристикъ «Семейной Хроники» отнюдь не связана съ болтливостью. Много-ли занимаютъ мѣста портреты добродѣтельнаго деспота Степана Михайловича, безцѣльно рвущейся куда-то Софіи Николаевны, ея кроткаго и симпатичнаго мужа, наконецъ характерной четы Куролесовыхъ? Какихъ-нибудь 1, 1½ листа. Да и вся-то «Семейная Хроника» со всей галлереей дѣйствующихъ лицъ ея, со всѣми ея разнообразными событіями, растянувшимися на пространствѣ многихъ лѣтъ, занимаетъ меньше 15 листовъ разгонистой печати. А между тѣмъ какъ все это рѣзко запечатлѣвается въ воображеніи читателя, какъ живо вырисовывается во весь свой ростъ. Такова сила истинно-художественныхъ приемовъ».

Несомнѣнно, что горячая родственная любовь продиктовала Аксакову его книгу. А между тѣмъ можетъ-ли быть что-нибудь

отвратительнѣе нравовъ, выведенныхъ въ ней? Добролюбовъ, человѣкъ другого класса, другого времени, не нашелъ въ «Хроникѣ» ничего кромѣ правдивой картины невыразимой мерзости: «Неразвитость нравственныхъ чувствъ, — пишетъ онъ, — извращеніе естественныхъ понятій, грубость, ложь, невѣжество, отвращеніе отъ труда, своеволие, ничѣмъ не сдержанное, — представляются намъ на каждомъ шагѣ въ этомъ прошедшемъ (изображенномъ въ «Хроникѣ»), теперь уже странномъ, непонятномъ для насъ и скажемъ, съ радостью, невозвратномъ... Да, всѣ эти поколѣнія, прожившія свою жизнь даромъ, на счетъ другихъ, — всѣ они должны были бы почувствовать *стыдъ*, горькій стыдъ при видѣ самоотверженнаго, безкорыстнаго труда своихъ крестьянъ. Они должны бы были вдохновиться примѣромъ этихъ людей и взяться за дѣло съ полнымъ сознаніемъ, что жизнь тунеядца презрѣнна и что только трудъ даетъ право на наслажденіе жизнью. Они не совѣстились присвоить себѣ это наслажденіе, отнимая его у другихъ. Горькое, тяжелое чувство сдавливаетъ грудь при воспоминаніи о давно-минувшихъ несправедливостяхъ и насиліяхъ...»

«Горькаго, тяжелаго чувства» не было и не могло быть у С. Аксакова; напротивъ, его отношеніе къ описываемому *чисто-родственное*. Пороли — по родственному, собирали обрѣзъ — по родственному, продавали людей — и это по родственному. Патріархальность нравовъ — и все тутъ. Съ этой точки зрѣнія Хомяковъ былъ правъ, утверждая, что С. Т. Аксаковъ «первый изъ нашихъ литераторовъ взглянулъ на русскую жизнь положительно, а не отрицательно».

Hier ist der Hund begraben. Въ сущности говоря, то настроеніе, которое создало «Семейную Хронику», было распространено впоследствии Константиномъ Аксаковымъ на всю старо-русскую, допетровскую жизнь. Къ чему-же оно сводилось и какъ можетъ быть оно сформулировано?

Старую пѣсню о томъ, что крѣпостныя отношенія въ значительной степени сглаживались и даже красились тѣмъ обстоятельствомъ, что они были отношеніями между живыми людьми, непосредственно близкими другъ къ другу, непосредственно знавшими другъ друга, — слышалъ, полагаю, всякій. Баринъ благожелательно относился къ своимъ Петрамъ и Иванамъ, а Петръ и Иванъ чувствовали преданность. «Вы наши отцы, а мы — ваши дѣти», — говорили Петры и Иваны, низко кланяясь господамъ, сидѣвшимъ подъ божицей. Что тамъ и здѣсь подобная идиллія существо-

вала на практикѣ—несомнѣнно, въ теоріи-же стародворянскаго быта она была господствующей. Личный характеръ отношеній—вотъ, словомъ, къ чему сводится преимущество крѣпостничества по словамъ его панегиристовъ. Какъ противоположность, выставляютъ фабрику. Здѣсь между хозяиномъ и работниками отношенія совершенно другого рода. Нѣтъ ни любви, ни преданности, ни даже личнаго знакомства. Хозяинъ—это предприниматель и только, работникъ—рабочая сила, не больше. «Сердечная связь» замѣнена контрактомъ, все нравственное вытѣснено юридическимъ. Петръ и Иванъ обезпечены процессомъ производства, предприниматель одинаково обезпеченъ имъ. Живой связи между людьми нѣтъ.

Но эта-то живая связь и вдохновляетъ преимущественно С. Аксакова. Не подкапываясь подъ догматъ помѣщичьей власти, не заподозрѣвая даже его, онъ на самомъ дѣлѣ видитъ въ баринѣ отца, въ крѣпостныхъ—дѣтей. Отецъ порою бываетъ строгъ, дѣти—шаловливы, но все это въ порядкѣ вещей, и изъ этого порядка совершенно логично вытекаютъ всякаго рода наказанія. Какое ни на есть,—передъ нами все-же единеніе и нѣтъ мертвцаго холода чисто правовыхъ, экономическихъ отношеній.

Поэтому «Семейная Хроника» и можетъ представиться положительнымъ произведеніемъ, но только для человѣка извѣстнаго класса, извѣстнаго слоя общества, видящаго идеаль государственный и общественнаго устройства въ патріархальности. Такимъ и былъ С. Аксаковъ. Тотъ-же идеаль, значительно расширенный и распространенный, цѣликомъ перешелъ къ Константину Аксакову.

Для полноты характеристики Сергія Тимофеевича приведу нѣсколько отрывковъ изъ воспоминаній лицъ, близко знавшихъ его:

«Аксаковъ отличался силою и крѣпостью тѣлосложенія, чему не мало способствовали частыя прогулки и занятіе охотою. Но здоровье его начало страдать еще лѣтъ за двѣнадцать до кончины. Болѣзнь глазъ принудила его надолго запереться въ темной комнатѣ, и, непріученный къ сидячей жизни, Аксаковъ разстроилъ отчасти свой организмъ, лишась притомъ одного глаза. Бодрость впрочемъ никогда не покидала его, даже въ послѣдніе годы жизни, когда болѣзнь его развивалась болѣе и болѣе и заставляла его почти постоянно сидѣть въ четырехъ стѣнахъ. Онъ былъ живъ и впечатлителенъ попрежнему; ясность духа его была невозмутима. Весною 1858 г. болѣзнь Аксакова приняла весьма опасный характеръ и стала причинять ему жесточайшія страданія, но онъ переносилъ ихъ съ чрезвычайною энергіею и терпѣніемъ.

Послѣднее лѣто провелъ онъ на дачѣ близъ Москвы и, не смотря на тяжелую болѣзнь, имѣлъ силу въ рѣдкія минуты облегченія насладиться природою и диктовать новыя свои произведенія, которыя ничѣмъ не напоминаютъ того, въ какія тяжелыя минуты они созданы. Сюда принадлежатъ «Собраніе бабочекъ», вышедшее въ свѣтъ уже послѣ его смерти въ «Братчинѣ», — сборникъ въ пользу бѣдныхъ казанскихъ студентовъ, которыми онъ особенно интересовался. Осенью 1858 г. Аксаковъ переѣхалъ въ городъ и всю слѣдующую зиму провелъ въ ужасныхъ страданіяхъ. Ни помощь лучшихъ врачей, ни заботы семьи не могли спасти его жизни, однако онъ продолжалъ еще иногда заниматься и писать статью «Зимнее утро», «Встрѣчу съ мартинистами», — послѣднее изъ напечатанныхъ при жизни его сочиненій, появившееся въ «Русской Бесѣдѣ» 1859 г., и повѣсть «Наташа», которая напечатана въ томъ-же журналѣ. Весной не оставалось уже надежды, и онъ умеръ 30 апрѣля 1859 г.»

IV. Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ.

Внѣшній очеркъ жизни Константина Сергѣевича очень несложенъ. Родился онъ 29 марта 1817 г. въ селѣ Аксаковѣ, Бугурусланскаго уѣзда, Оренбургской губерніи. Въ Аксаковѣ-Багровѣ, тоже достаточно извѣстномъ всѣмъ читателямъ «Семейной Хроники» хотя бы только отрывковъ изъ нея въ хрестоматіяхъ, — К. С. прожилъ до 9 лѣтъ, находясь въ постоянномъ общеніи съ багровскими крестьянами, которые, благодаря благодатнымъ климатическимъ условіямъ богатаго въ то время и неразграбленнаго еще Оренбургскаго края, во всѣхъ отношеніяхъ стояли выше зажиткаго крестьянства средней полосы Россіи. «И такъ какъ Константинъ Сергѣевичъ отличался необыкновенно раннимъ умственнымъ развитіемъ, то нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что именно идиллическія условія, среди которыхъ прошло дѣтство будущаго восторженнаго проповѣдника необходимости единенія интеллигенціи съ народомъ, и обусловили въ значительной степени оптимистическій взглядъ его на возможность этого единенія. По крайней мѣрѣ самъ онъ неоднократно ссылается въ послѣдствіи на живыя впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ личнаго общенія съ народомъ». Это общеніе продолжалось однако очень недолго, такъ какъ Аксаковы въ

1826 г. переселились въ Москву, гдѣ Константинъ Сергѣевичъ и прожилъ почти безвыѣздно всю свою недолгую жизнь.

До 15 лѣтъ его воспитаніемъ руководилъ отецъ, Сергѣй Тимофеевичъ, прививая къ сыну свое восторженное отношеніе къ русскимъ началамъ вообще, русской литературѣ въ частности; 15-ти же лѣтъ Константинъ Сергѣевичъ поступилъ студентомъ въ Московскій университетъ на словесное отдѣленіе. Онъ былъ, значить, сверстникомъ и сотоварищемъ Бѣлинскаго, Станкевича, Герцена. Онъ примкнулъ къ кружку Станкевича и долгое время находился подъ обаяніемъ этой свѣтлой, исключительной личности.

Слишкомъ извѣстна жизнь московской университетской молодежи 30-хъ годовъ, чтобы мы стали долго останавливаться на ней. Отголоски ея горячихъ, страстныхъ споровъ слышны еще и теперь. Существовало сплоченное товарищество, жажда познанія, тѣсная дружба среди кружковъ. Русская мысль просыпалась и въ этомъ ея пробужденіи больше всего повинна была нѣмецкая идеалистическая философія и главнѣйше философія Гегеля. Нисколько не преувеличеннымъ являются слѣдующія наприимѣръ слова современника:

«Станкевичъ былъ первый послѣдователь Гегеля въ кругу московской молодежи. Онъ изучилъ нѣмецкую философію глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, онъ увлекъ большой кругъ друзей въ свое любимое занятіе», и тѣмъ отъ всякаго приходившаго съ ними въ столкновение «требовали безусловнаго принятія феноменологии и логики Гегеля и притомъ по ихъ толкованію. Толковали же они объ нихъ безпрестанно, нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ (Гегелевской) логики, въ двухъ его эстетики, энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлѣ недѣли, не согласившись въ опредѣленіи «перехватывающаго духа», принимали за обиды мнѣнія объ «абсолютной личности и о ея по себѣ бытіи». Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ, нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ, въ нѣсколько дней».

Ничего страннаго въ преклоненіи передъ Гегелемъ нѣтъ, какъ нѣтъ вообще ничего страннаго въ преклоненіи чистой и искренней юности передъ несомнѣннымъ величіемъ.

«Прежде всего необходимо указать на плодотворнѣйшее начало всякаго прогресса, которымъ столь рѣзко и блистательно отличается нѣмецкая философія вообще и въ особенности гегелева система отъ тѣхъ лицемѣрныхъ и трусливыхъ воззрѣній, какія господствовали въ тѣ времена (начало XIX вѣка) у французовъ и

англичанъ: «истина—говорили нѣмецкіе философы—верховная цѣль мышленія; ищите истины, потому что въ истинѣ благо; какова-бы ни была истина—она лучше всего, что неистинно; первый долгъ мыслителя не отступать ни передъ какими результатами, онъ долженъ быть готовъ жертвовать истинѣ самыми любимыми своими мнѣніями. Заблужденіе—источникъ всякихъ пагубъ, истина—верховное благо и источникъ всѣхъ другихъ благъ». Чтобы оцѣнить чрезвычайную важность этого требованія, общаго всей нѣмецкой философіи со времени Канта, но особенно энергично высказаннаго Гегелемъ, надобно вспомнить, какими странными и узкими условіями ограничивали истину мыслители другихъ тогдашнихъ школъ: они принимались философствовать не иначе, какъ затѣмъ, чтобы оправдать дорогія для нихъ убѣжденія, т. е. искали не истины, а поддержки своимъ предубѣжденіямъ. Каждый бралъ изъ истины только то, что ему нравилось, а всякую непріятную для него истину отвергалъ, безъ церемоніи признаваясь, что пріятное заблужденіе кажется ему гораздо лучше безпристрастной правды. Эту манеру заботиться не объ истинѣ, а о подтвержденіи пріятныхъ предубѣжденій нѣмецкіе философы, особенно Гегель, прозвали «субъективнымъ мышленіемъ», философствованіемъ для личнаго удовольствія, а не ради живой потребности истины. Гегель жестоко изобличалъ эту пустую и вредную забаву. Какъ необходимое предохранительное средство противъ поползновеній уклониться отъ истины въ угожденіе личнымъ желаніямъ и предразсудкамъ былъ выставленъ Гегелемъ знаменитый *діалектический методъ мышленія*. Сущность его состоитъ въ томъ, что мыслитель не долженъ успокоиваться ни на какомъ положительномъ выводѣ, а долженъ искать, *нѣтъ ли въ предметѣ, о которомъ онъ мыслитъ, качества и силы, противоположныя тому, что представляется этимъ предметомъ на первый взглядъ*. Такимъ образомъ мыслитель былъ принужденъ обозрѣвать предметъ со всѣхъ сторонъ, и истина являлась ему не иначе, какъ слѣдствіе борьбы всевозможныхъ противоположныхъ мнѣній. Этимъ способомъ, вмѣсто прежнихъ одностороннихъ понятій о предметѣ, мало-по-малу являлось полное, всестороннее изслѣдованіе и составлялось живое понятіе о всѣхъ дѣйствительныхъ качествахъ предмета. *Объяснить дѣйствительность стало существенной обязанностью философскаго мышленія*. Отсюда явилось чрезвычайное вниманіе къ дѣйствительности, надъ которой прежде не задумывались, безъ всякой церемоніи искажая ее въ угоду собствен-

нымъ одностороннимъ предубѣжденіямъ. Такимъ образомъ добросовѣстное, неутомимое исканіе истины стало на мѣстѣ прежнихъ произвольныхъ толкованій. Но въ дѣйствительности все зависитъ отъ обстоятельствъ, отъ условій времени и мѣста — и потому Гегель призналъ, что прежнія общія фразы, которыми судили о добрѣ и злѣ, не рассматривая обстоятельствъ и причинъ, по которымъ возникло данное явленіе, — что эти общія отвлеченныя изреченія неудовлетворительны. Каждый предметъ, каждое явленіе имѣетъ свое собственное значеніе, и судить о немъ должно по соображенію той обстановки, среди которой оно существуетъ. Дождь напр. можетъ быть благомъ, но можетъ быть и зломъ, война можетъ принести пользу, но можетъ принести и вредъ и т. д. Это правило выражалось формулою: «отвлеченной взятой внѣ обстоятельствъ времени и мѣста, истины нѣтъ; истина — конкретна», т. е. опредѣлительное сужденіе можно произнести лишь объ опредѣленномъ фактѣ, рассмотрѣвъ всѣ обстоятельства, отъ которыхъ онъ зависитъ.

«Свободой изслѣдованія, свободой мысли — вотъ чѣмъ пахнуло на университетскую молодежь изъ книгъ гегелевой философіи, вотъ что увлекло ее до самозабвенія, вотъ что сдѣлало ея юношескую нетерпѣливую работу не только плодотворной, но и исторической».

Въ ряду энтузіастовъ гегеліанства, одно изъ первыхъ мѣстъ, по силѣ приверженности къ ученію берлинскаго мудреца, занялъ Константинъ Аксаковъ, страстная натура котораго не умѣла ничего дѣлать наполовину. Но изъ любой системы, изъ любого ученія каждый беретъ лишь то, что онъ можетъ, что подходитъ къ его природѣ, его настроенію. Все равно какъ темпераментъ и обстоятельства жизни неумолимо вели Герцена въ лѣвый лагерь гегеліанства и заставили его мысль объ относительности истины примѣнить безъ всякихъ уступокъ къ вопросамъ религіи, нравственности, политики и т. д., такъ темпераментъ и преданія семейства сдѣлали изъ Аксакова праваго гегеліанца, такого т. е., который искалъ и, разумѣется, находилъ безусловныя устои жизни. Для К. Аксакова этими безусловными устоями жизни были Россія, русскій народъ, православіе. Тѣсная связь между нимъ и слишкомъ свободомыслящимъ кружкомъ Станкевича скоро должна была порваться.

«Въ кружкѣ Станкевича (въ срединѣ 30-хъ годовъ), — вспоминаетъ онъ самъ, — выработалось уже общее воззрѣніе на *Росцію*, на жизнь, на литературу, на міръ, — воззрѣніе *большою частію отрицательное*».

«Одностороннѣ всего, — продолжаетъ онъ, — были нападенія на Россію, возбужденныя казенными ей похвалами. Пятнадцатилѣтній юноша, вообще довѣрчивый и тогда готовый вѣрить всему, еще многого не передумавшій, еще со многими не уравнившійся, я былъ пораженъ такимъ направленіемъ, и мнѣ оно часто было больно; въ особенности болѣны были мнѣ нападенія на Россію, которую люблю съ самыхъ малыхъ лѣтъ. Но, видя постоянный умственный интересъ въ этомъ обществѣ, слыша постоянныя рѣчи о нравственныхъ вопросахъ, я, разъ познакомившись, не могъ оторваться отъ этого кружка и рѣшительно каждый вечеръ проводилъ тамъ».

Это отрицательное направленіе часто даже шокировало Аксакова, «русская душа» котораго ярко опредѣлилась, по свидѣтельству Гильфердинга, еще тогда, когда ему было 9, 10 лѣтъ. Съ болѣю сердечною воспоминаетъ Константинъ Сергѣевичъ о нападкахъ членовъ кружка на многія частности тогдашнихъ порядковъ.

Но всего ярче отрицательное направленіе кружка выразилось въ вопросахъ чисто-литературныхъ. Воимнѣ въ самомъ дѣлѣ, что къ эпохѣ процвѣтанія кружка относятся «Литературныя мечтанія» Бѣлинскаго, гдѣ съ такою безпощадною «дерзостью», по выраженію пришедшихъ въ ужасъ литературныхъ старовѣровъ, было провозглашено, что собственно никакой-то у насъ настоящей литературы и нѣтъ.

«Искусственность російскаго классическаго патріотизма, — продолжаетъ Константинъ Сергѣевичъ, — претензіи, наполнявшія нашу литературу, усилившаяся фабрикація стиховъ, неискренность печатнаго лиризма, — все это породило въ членахъ кружка справедливое желаніе простоты и искренности, породило сильное нападеніе на всякую фразу и эффектъ».

Но когда это «справедливое желаніе» сопровождалось рѣзкой критикой, подкапываніемъ подъ всякій авторитетъ, К. Аксаковъ чувствовалъ, что онъ уже не дома въ кружкѣ Станкевича.

«Пока оппозиціонный характеръ былъ присущъ кружку Станкевича лишь *implicite*, пока одностороннее пониманіе формулы Гегеля (все существующее разумно) приводило къ такимъ проявленіямъ, какъ статья Бѣлинскаго о «Бородинской годовщинѣ» — этому апопеезу официальнаго патріотизма, — К. Аксаковъ могъ идти рука объ руку съ будущими ожесточенными своими противниками. Но около 1846 г. цѣлый рядъ обстоятельствъ приводитъ къ тому, что скрытый оппозиціонный характеръ кружка переходитъ въ открытый. Умираетъ во-первыхъ Станкевичъ, мягкая натура котораго ура-

вновьшивала и сдерживала рѣзкія выходки другихъ членовъ кружка, а затѣмъ — наиболѣе близкій къ Константину Аксакову по кружку Станкевича человекъ — Бѣлинскій круто повернулъ въ противоположную сторону отъ праваго гегеліанства и съ такою стремительностью, съ такой же неудержимой страстностью сталъ произносить «буйныя» — по выраженію Константина Аксакова — «хулы» противъ своихъ недавнихъ кумировъ. Бѣлинскій опомнился, увидѣлъ, куда ведетъ признаніе всего существующаго разумнымъ, въ немъ заговорилъ живой человекъ, несправедливо обездоленный, — и сжегъ свои корабли. Не вытерпѣлъ этого Аксаковъ, все болѣе и болѣе начинавшій сближаться послѣ смерти Станкевича и отъѣзда Бѣлинскаго въ Петербургъ съ Хомяковымъ, Кирѣевскими, Самаринымъ: онъ пошелъ направо, Бѣлинскій — налѣво.

«У каждого изъ нихъ при этомъ сердце кровью обливалось. Нужно перечитать напечатанныя въ «Руси» (1886 г.) письма Бѣлинскаго къ Константину Аксакову за 1837-ой годъ, чтобы понять, какая горячая, истинно братская привязанность соединяла обоихъ идеалистовъ. Но именно потому, что оба они были идеалистами, именно потому, что исканіе правды не было для нихъ высокопарною фразою, а насущною потребностью ихъ высокаго духовнаго существа, именно потому-то разрывъ между ними и сталъ неизбеженъ, какъ только они стали розно понимать истину. «Я по натурѣ *жидъ*» — писалъ Бѣлинскій по поводу своей ссоры съ Аксаковымъ, подразумевая подъ этимъ словомъ человека съ исключительными симпатіями, которому ненавистно все не свое, который не выноситъ ни малѣйшаго компромисса съ «филистимлянами». Но такимъ-же жидомъ по натурѣ былъ и Константинъ Аксаковъ. Для него тоже не существовало истины вообще, онъ тоже понималъ только *свою* истину, — только ту истину, которая окрашена въ любезный ему цвѣтъ, онъ тоже не понималъ какихъ бы то ни было уступокъ, компромиссовъ, соглашеній. И вотъ почему оба прежніе друга играютъ одну и ту-же роль въ тѣхъ лагеряхъ, къ которымъ они примкнули послѣ разрыва. Съ тою же необузданностью, съ какою «неистовый Виссаріонъ» выступаетъ передовымъ бойцомъ западничества, Константинъ Аксаковъ выступаетъ передовымъ застрѣльщикомъ славянофильства въ его наиболѣе крайнихъ проявленіяхъ. Онъ первый надѣваетъ на себя «мурмолку», и первый же провозглашаетъ, что надо вернуться домой въ до-петровскую Русь». «Возвратъ» — вотъ слово, ставшее его знаменемъ».

* *

Опредѣленіе «субъективнаго элемента» въ области мышленія, хотя бы и руководимаго жаждой правды и истины, — является одной изъ главнѣйшихъ задачъ историка литературы. Не разрѣшивши ея, онъ, можно сказать, не сдѣлалъ и перваго шага. Анализъ біографическихъ данныхъ и обстоятельствъ времени долженъ быть увѣнчанъ возможно полнымъ и основательнымъ отвѣтомъ на вопросъ: почему человекъ думалъ такъ, а не иначе, почему онъ, нисколько не лицемеря, нисколько не кривя душой, необходимо приходилъ къ такимъ-то и такимъ-то выводамъ. Процессъ мышленія однообразенъ только повидимому, въ дѣйствительности у каждого своя логика. Преданія семьи, классовыя симпатіи, любовь и ненависть — вотъ то прокрустово ложе, на которое даже сильные умы укладываютъ свою мысль, свои аргументы, *ad libitum* укорачивая и удлиняя ихъ по мѣрѣ надобности. Бѣлинскій напр. могъ увлекаться «эстетическимъ отношеніемъ къ дѣйствительности», могъ писать оды вродѣ статьи о «Бородинской годовщинѣ», но все это лишь до той поры, пока въ немъ не заговорила «кровь», не заговорилъ нищій, обездоленный человекъ. Какъ только это случилось — повязка сразу спала съ его главъ, и онъ круто повернулъ въ сторону протеста. Одинаково идеалъ Аксакова — *patriarchальность* — питался отнюдь не историческими изученіями, а условіями его жизни, настроеніями его личнаго характера. Чтобы понять его теорію, надо понять его, какъ человека.

«Константинъ Аксаковъ, — пишетъ Панаевъ въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ, — въ житейскомъ, практическомъ смыслѣ оставался до сорока слишкомъ лѣтъ, то есть до самой смерти своей, совершеннымъ ребенкомъ. Онъ беззаботно всю жизнь провелъ подъ домашнимъ кровомъ и приросъ къ нему, какъ улитка къ родной раковинѣ, не понимая возможности самостоятельной жизни, безъ подпоры семейства. Въ своихъ ученыхъ и литературныхъ занятіяхъ, онъ не имѣлъ никакого общественнаго положенія. Смерть отца и происшедшая отъ этого перемена въ домашнемъ быту вдругъ сломила его несокрушимое здоровье. Онъ не могъ пережить этой потери, и умеръ не только холостякомъ, даже дѣвственникомъ».

Въ сущности, до самой своей смерти онъ оставался «большимъ ребенкомъ», случайно прикомандированнымъ къ общественной жизни, которой онъ не понималъ и понять не могъ, потому что онъ понималъ и могъ понимать лишь одну «дѣтскую».

Окончивши университетъ, Константинъ Аксаковъ въ 1838 г. поѣхалъ за границу, но эта поѣздка по своей кратковременности прошла для него почти безслѣдно. Сохранился только разсказъ о томъ, что во время пребыванія въ Берлинѣ Константинъ Акса-

ковъ въ первый и послѣдній разъ въ жизни пытался сблизиться съ женщиной.

«На перекресткѣ одной изъ берлинскихъ улицъ обратила на себя его вниманіе молоденькая продавщица цвѣтовъ. Миловидное личико нѣмочки показалось ему отраженіемъ столь-же привлекательной души. И началъ онъ каждый день приходить на перекрестокъ и покупать по букету, отбавиваясь при этомъ сказать продавщицѣ нѣсколько словъ о постороннихъ предметахъ. Продавщица ласково ему отвѣчала и между ними установилась нѣкоторая интимность. Ободренный этимъ, молодой Аксаковъ началъ все дольше и дольше простаивать у прилавка продавщицы, началъ приносить съ собою Шиллера и читать изъ него наиболѣе возвышенныя и трогаящія душу мѣста. Нѣмочка внимательно слушала чтеніе и все болѣе и болѣе задумывалась во время его. Восхищенный Аксаковъ съ восторгомъ наблюдалъ это впечатлѣніе высокой поэзіи великаго поэта. Но вотъ, въ одно изъ посѣщеній цвѣточной лавочки, продавщица ему прямо заявляетъ, что Шиллеръ Шиллеромъ, а что онъ ей отбиваетъ покупателей, что объ его продолжительныхъ посѣщеніяхъ много говорятъ сосѣди, и что если онъ хочетъ продолжать знакомство, то ей было-бы желательно получать отъ него что-нибудь посущественнѣе стиховъ, за что, въ свою очередь, она, не требуя отъ него наложенія на себя брачныхъ узъ, готова всецѣло отдаться въ его распоряженіе. Въ ужасѣ слушалъ эти рѣчи упавшій съ неба прямо въ лужу идеалистъ и въ ужасѣ бѣжалъ изъ цвѣточной лавочки, и когда впоследствии пріатели, узнавши отъ него въ минуту откровенности всю исторію, пробовали дразнить его ею, лицо Аксакова перекашивалось отъ внутреннего страданія».

Подобная наивность очень характерна. Она-то и является основнымъ душевнымъ качествомъ знаменитаго славянофила,—качествомъ, ни на минуту не покидавшимъ его даже при ученыхъ и литературныхъ трудахъ. Что могло быть наивнѣе, какъ въ срединѣ XIX-го вѣка одѣваться въ безобразный до-петровскій костюмъ, возводить въ принципъ косоворотку и мурмолку, или предполагать, что бѣлокурая нѣмочка, дочь своего вѣка, будетъ всю свою жизнь слушать Шиллера, восторгаться Шиллеромъ, останется навсегда духовной невѣстой Шиллера?... Константинъ Аксаковъ однако не находилъ тутъ ничего страннаго.

Онъ хотѣлъ слиться съ народомъ не только духовно, но даже и наружно, и хотѣлъ поэтому измѣнить свой внѣшній обликъ. «Для этого онъ надѣлъ на голову мурмолку, нарядился въ рубашку съ косымъ воротомъ и отпустилъ бороду». Это было смѣшно, на улицѣ за нимъ бѣгали зѣваки и называли персіаниномъ; онъ жаловался на порчу нравовъ и винилъ въ ней Европу. «Назадъ», «домой», любовно «вперивши свой взоръ на Востокъ» — вотъ его символъ вѣры, воплощеніемъ котораго служили мурмолка и косо-

воротка. Характерно, чѣмъ вдохновлялась въ это время его муза. Онъ писалъ въ 1843 г.:

Прошли года тяжелые разлуки,
Отсутствія исполненъ долгій срокъ,
Прельщенія, сомнѣнія и муки
Испытаны,—и взять благой урокъ!
Оторваны могущею рукою,
Мы бросили отечество свое,
Умчались вдаль, плѣняясь чужой землею,
Земли родной презрѣвши бытіе.
Преступно мы объ ней позабывали,
И голосъ къ намъ ея не доходилъ;
Лишь иногда мы смутно тосковали:
Насъ жизни ходъ насильственный давилъ!
Предателей, измѣнниковъ не мало
Межъ нами, въ долгомъ странствіи, нашлось:
Въ чужой землѣ ничто ихъ не смущало,
Сухой душѣ тамъ весело жилось!
Слетѣлъ туманъ! предъ нашими очами
Явилась Русь!... Родной ея призывъ
Звучитъ опять, и нашими сердца
Вновь овладѣлъ живительный порывъ.
Конецъ, конецъ томительной разлуки!
Отсутствію насталъ желанный срокъ.
Знакомые тѣснятся въ душу звуки
И взоръ вперенъ съ любовью на Востокъ.
Пора домой! И пѣсни повторяя
Старинныя, мы весело идемъ.
Пора домой! Насъ ждетъ земля родная,
Великая въ страданіи нѣмомъ!
Презрѣніемъ отягчена жестокихъ,
Народнаго столица торжества,
Опять полна значеніемъ глубокимъ
Является великая Москва.
Постыдное, безчестное презрѣнье
Скорѣ въ прахъ! Свободно сердце вновь,
И грудь полна тревоги и смятенія,
И душу всю наполнила любовь!
Друзья, друзья! Тѣснѣ въ кругъ сомкнемся,
Покорные движенію евоему,
И радостно, и крѣпко обоемся,
Любя одно. стремяся къ одному!
Землѣ родной все, что намъ Небо дало,
Мы посвятимъ! Пускай заблещетъ мечъ,
И за нее, какъ въ старину бывало,
Мы радостно готовы стать и лечъ.
Друзья, друзья! Грядущее обильно,
Надежды сладкой вѣруйте словамъ,
И жизнь сама, насъ движущая сильно,
Порукою за будущее намъ!...

Смотрите—мракъ ужъ робко убѣгаетъ,
 На западъ земли лишь онъ растетъ:
 Востокъ горитъ, день не далеку, свѣтаетъ.
 И скоро солнце красное взойдетъ!

Но, разумеется, эта поразительная наивность большого, лучше сказать, «вѣчнаго ребенка» нисколько не мѣшала тому, чтобы личность Константина Аксакова представлялась въ высокой степени привлекательной для каждаго изъ близко знавшихъ его. Младенческая чистота души, цѣломудріе въ широкомъ смыслѣ этого слова—вотъ что находимъ мы во всѣхъ его характеристикахъ. Намъ необходимо познакомиться съ ними прежде, чѣмъ приступить къ разбору теорій и взглядовъ Константина Аксакова.

«Какое множество, быть можетъ, умныхъ людей,—начинаетъ г. Бидинъ свои воспоминанія,—съ высоты своего практическаго разумія», считали Константина Сергѣевича ребенкомъ и даже дитей. Какъ они должны были забавляться его простодушной вѣрой въ людей и совершеннымъ невѣдѣніемъ тѣхъ, такъ называемыхъ практическихъ истинъ, что извѣстны даже весьма дюжиннымъ умникамъ наизусть. Но какъ вся эта масса свѣтскихъ мудрецовъ пасовала предъ нимъ, передъ этимъ «младенцемъ на злое», именно ради его неумолимаго и неподкупнаго нравственнаго чувства. Никакой сдѣлки съ совѣстью, никакого компромисса или способа уживчивости, никакого *modus vivendi* кривды съ правдой онъ не допускалъ. «Я ему руки не подаю»,—сказалъ мнѣ одинъ разъ Константинъ Сергѣевичъ про человѣка, весьма извѣстнаго тогда въ московскомъ свѣтѣ. Признаться, меня это удивило, именно потому, что личность, о которой шла рѣчь, пользовалась всеобщимъ вѣжливымъ почетомъ; трудно-бы было и избѣжать встрѣчъ въ обществѣ именно съ этимъ, бывшимъ тогда въ славѣ, общественнымъ дѣятелемъ.—«Я не знаю ничего безнравственнѣе свѣтской нравственности»,—продолжалъ, какъ бы въ поясненіе моей мысли, Константинъ Сергѣевичъ. «Случалось-ли вамъ слышать такое общепринятое про человѣка выраженіе (именно только въ свѣтѣ оно могло родиться): это разбойникъ, это безнравственный человѣкъ, *mais c'est un homme tout à fait comme il faut*, руку ему можно подать?»

Подавать руку «разбойнику», хотя бы тотъ и слылъ за человѣка совершенно приличнаго, Константинъ Аксаковъ не былъ способенъ. Онъ не шелъ никогда ни на малѣйшія уступки свѣтскимъ приличіямъ и свою правдивость доводилъ до ригоризма, не дѣлая никакого различія между важной и пустой ложью.

«Одинъ разъ, — рассказываетъ г. Бидинъ, — пришлось мнѣ просить Константина Сергѣевича удѣлить нѣсколько часовъ времени для выслушанія одной рукописи, а къ ней онъ относился и самъ съ живымъ участіемъ. Онъ назначилъ мнѣ быть на другой-же день. Чтеніе началось съ ранняго утра и продолжалось часу до четвертаго. Передъ самымъ началомъ Конет. Серг. оговорилъ въ домѣ, что онъ будетъ занятъ и желающихъ видѣть собственно его не принимать никого. Скоро раздался звонокъ, человѣкъ вошелъ въ комнату и назвалъ фа-

милю прѣхавшаго. «Сказать, что я занятъ и принять не могу», — отвѣчалъ Константинъ Сергѣевичъ. Въ самомъ непродолжительномъ времени послѣдовалъ другой звонокъ, потомъ третій. Человѣкъ по-прежнему входилъ съ докладомъ. «Занятъ и принять не могу», — по-прежнему отвѣчалъ Константинъ Сергѣевичъ. Не помню, послѣ котораго звонка и доклада я наконецъ не выдержалъ и спросилъ: почему-бы не сказать въ такихъ случаяхъ общепринятаго «*дома нѣтъ*»? «Очень жаль, что это общепринято», — съ живостью возразилъ Константинъ Сергѣевичъ, — «но ни въ малыхъ, ни въ большихъ дѣлахъ лгать не вижу надобности. Неужели не проще сказать: *не могу принять*, чѣмъ *нѣтъ дома*? Тѣмъ болѣе, что, еслибы кому-нибудь встрѣтилась теперь дѣйствительная необходимость меня видѣть, мнѣ было бы даже совѣстно лишиться этой возможности, да еще и солгать передъ нимъ. Но, вотъ вы сами видите, насъ никто и не беспокоитъ. Мнѣ кажется даже, что, привыкнувъ къ моему обычаю, то-есть къ тому, что я не отказываю фразой *дома нѣтъ*, сами посѣтителы тяготятся теперь настаивать на непремѣнномъ свиданіи, а это бываетъ при живомъ отвѣтѣ *нѣтъ дома*». Было и еще нѣсколько звонковъ. Послѣ одного изъ нихъ человѣкъ доложилъ фамилію одного изъ профессоровъ Московскаго университета, оговоривъ, что просятъ непремѣнно принять хоть минуты на двѣ. Константинъ Сергѣевичъ, извиняясь за перерывъ чтенія, вышелъ къ тому посѣтителю и даже менѣе, чѣмъ чрезъ двѣ минуты, возвратился назадъ. «Вотъ видите-ли, — сказалъ онъ сіяющій, — мы и опять свободны продолжать чтеніе; такой маленький перерывъ почти не помѣшалъ намъ. А я радъ, что не отказалъ въ приѣмѣ: профессоръ хлопочетъ объ одномъ бѣдномъ студентѣ; дѣло идетъ объ его опредѣленіи, а оно и вовсе не состоялось-бы, еслибы я не далъ себя видѣть; теперь-же дѣло кончено, и молодой человѣкъ устроенъ. И, повѣрьте мнѣ, люди чутки къ правдѣ болѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Откажи я ему подъ предлогомъ, что меня дома нѣтъ и потомъ выйди къ нему по усиленной просьбѣ, онъ поддержалъ-бы меня гораздо долѣе, чѣмъ теперь, когда ему сразу сказали, что я дома, но занятъ».

Быть можетъ все это и мелочи, но мелочи очень характерныя, почему мы позволимъ себѣ еще задержать вниманіе читателей на искреннихъ воспоминаніяхъ Вицына.

«Мнѣ припоминается, — сообщаетъ онъ, — рассказъ очевидца о диспутѣ Константина Сергѣевича при его магистерской диссертациі (Ломоносовъ) Это рассказъ О. М. Д-ва, который въ шестидесятыхъ годахъ и самъ занималъ кафедру въ Московскомъ университетѣ, а тогда лишь готовился къ тому и былъ накануне своей собственной магистерской диссертациі. На всѣ возраженія, — рассказывалъ этотъ очевидецъ, — Константинъ Сергѣевичъ отвѣчалъ живо и ничего не уступалъ изъ собственныхъ тезисовъ. Но послѣ одного сдѣланнаго ему замѣчанія магистрантъ вдругъ воскликнулъ: «ахъ, какое дѣльное возраженіе!» и это съ такой дѣтской искренностью и съ такимъ невольнымъ движеніемъ руки, поднесенной къ волосамъ, что вся аудиторія разразилась смѣхомъ. Ясно было, что не личное самолюбіе, а самый предметъ спора занималъ диспутанта.»

«Гоголь въ одномъ изъ своихъ писемъ, теперь уже напечатанномъ въ полномъ изданіи его сочиненій, допустилъ такое выраженіе о Константинѣ Сергѣевичѣ: этотъ человекъ боленъ избыткомъ силъ физическихъ и нравственныхъ, тѣ и другія въ немъ накопились, не имѣя проходовъ извергаться. И въ физическомъ, и въ нравственномъ отношеніи онъ остался дѣвственникъ. Какъ въ физическомъ, если человекъ, достигнувъ до тридцати лѣтъ не женился, то дѣлается боленъ, такъ и въ нравственномъ для него даже было-бы лучше, если-бы онъ въ молодости своей... (многозначіе въ печатномъ подлинникѣ). Но воздержаніе во всѣхъ разсѣяніяхъ жизни и плоти устремило всѣ силы у него къ духу. Онъ долженъ неминуемо сдѣлаться фанатикомъ».

«Какъ нельзя сознательнѣй и свободнѣй относился Константинъ Сергѣевичъ даже къ своему дѣвственному состоянію, о чемъ говорится въ этомъ печатномъ письмѣ Гоголя. Были другіе комментаторы этого состоянія Конст. Серг.; они прямо считали его какимъ-то платоническимъ идеалистомъ; сама уже природа у него такая, это его физиологическая черта, не больше. На этотъ счетъ и тѣ, и другіе не правы. Это не было фанатизмомъ съ его стороны ни въ основѣ, ни въ послѣдствіяхъ, какъ могли-бы заключить инне изъ письма Гоголя; это не было и отсутствіемъ подвига, какъ легкомысленно объясняли другіе. Я посмѣлъ ему прямо это высказать какъ-то разъ во время нашей бесѣды»

«Говорить, — сказала я, — что въ самомъ организмѣ человека заключаются иногда условія для дѣвственного состоянія его; иной человекъ таковъ уже отъ природы, въ томъ нѣтъ и заслуги съ его стороны. Что вы скажете объ этомъ относительно васъ самихъ?» — «Зачѣмъ такъ думать?» — возразилъ онъ съ живостью — «Даромъ человеку ничто не дается, достиженіе сего составляетъ нравственный подвигъ. Это подвигъ воли, и очень тяжелый». И столько же скромно, сколько гордо, онъ прибавилъ: «я скажу по крайней мѣрѣ о себѣ: нѣтъ, мнѣ это даромъ не далось». Послѣднее было имъ выговорено съ большимъ усиліемъ»

Какъ и можно было ожидать, Константина Сергѣевича сразила смерть его отца. Онъ захирѣлъ сейчасъ-же послѣ нея и уже не могъ поправиться. «Вольшой ребенокъ», оставшись одинъ, не могъ не погибнуть. 30-го апрѣля 1859 года умеръ Сергѣй Тимофеевичъ. Я, рассказываятъ Бицынъ, зашедши въ редакцію «Русской Бесѣды», —

«услыхавъ мало утѣшительнаго: Константинъ Сергѣевичъ былъ безнадѣженъ; не только свои, и чужіе боялись за него. Его укоряли, что онъ не бережетъ себя, еще прямо и въ томъ, что онъ какъ-бы намѣренно убиваетъ себя. Къ этому прибавляли, что онъ страшно измѣнился. Хорошо предупрежденный на этотъ счетъ, я готовился быть особенно осторожнымъ при встрѣчѣ съ нимъ. Перебѣжавъ только улицу, ужъ я былъ на Кисловкѣ, а сдѣлавъ еще шаговъ тридцать къ знакомому дому, ужъ видѣлъ палисадникъ за перилами, большія ворота, и изъ воротъ, въ противоположную отъ меня сторону, медленными шагами удалявшуюся фигуру. Я нагналъ вслѣдъ; медленно отходявшій отъ меня обернулся. Можно-ли было узнать прежняго, бодрого душевно и тѣлесно Константина Сергѣевича. Мало сказать: онъ страшно из-

мѣнился въ лицѣ! нѣтъ, а отъ общей исхудалости и было еще что-то удлинненное и утонченное во всей фигурѣ. Цепельность бороды и усовъ, вдругъ взявшаяся просѣды, вмѣсто прежняго ихъ цвѣта; съ ногъ до головы чрезвычайная угрюмость во всемъ видѣ; неподвижный, какой-то внутрь самого себя обращенный, самоуглубленный взоръ и тихость, жуткая тихость,—поразила меня. Я иду въ церковь,—сказалъ онъ,—какъ служба отойдетъ—вернусь. Вы меня застанете дома, я жду васъ.

— Но, Константинъ Сергѣевичъ, поберегите себя,—вырвалось у меня совершенно невольно.

Тутъ-же, стоя на улицѣ, онъ отвѣчалъ очень серьезно, но тихимъ и задумчивымъ голосомъ, а не какъ бывало: «Да, меня упрекаютъ. На меня даже возводятъ обвиненіе, что я не удерживаюсь отъ горя, даю ему волю и намеренно расстраиваю себя. Не вѣрьте этому. А я просто не могу».

«Кто расчитывалъ на время, — говорить въ другомъ мѣстѣ г. Билинъ, — надѣясь еще, что само время излечитъ, тотъ ошибся вдвойнѣ. «Время тутъ ничему не поможетъ, повѣрьте»,—говорилъ онъ мнѣ еще тогда въ Москвѣ, и Аксаковъ былъ правъ. Въ горести, давившей все его существо, не было ничего эффектированнаго съ самаго начала; ничего такого, что было бы связано, какъ тамъ онъ говорилъ, съ нервнымъ расстройствомъ, а лишь въ такихъ случаяхъ и помогаетъ время. Это была, напротивъ того, скорбь, усиливавшаяся съ каждымъ днемъ, потому что каждый новый день приносилъ и большее разувѣреніе въ возможности будущаго и настоящаго безъ прошлаго».

Тоска одолевала Константина Сергѣевича и запленила его наконецъ. Грустью и полной безнадежностью дышетъ отъ слѣдующихъ строкъ одного изъ послѣднихъ предсмертныхъ его писемъ:

«Вы приглашаете меня къ вамъ въ деревню, братъ показалъ мнѣ письмо ваше, приглашеніе ваше такъ искренно, въ немъ сказалось такое дружеское движеніе, что мнѣ захотѣлось непременно написать вамъ и вотъ я пишу. Я всегда очень много цѣнилъ въ жизни привѣтъ и всегда съ такою радостью на него отзывался, но привѣтъ вовсе не такъ часто встрѣчается въ жизни, какъ, можетъ быть, думаютъ. Въ вашихъ словахъ мнѣ послышался именно этотъ привѣтъ, который такъ рѣдокъ. Еслибъ это приглашеніе ваше сдѣлано было-бы при батюшкѣ.. тогда я не проѣздомъ къ Хомякову, а нарочно-бы къ вамъ поѣхалъ. Но теперь, любезнѣйшій... все кончилось. Ни удовольствіе, ни радость жизни для меня существовать не могутъ. Однимъ словомъ, жизнь кончилась,—жизнь, какъ моя. Я здѣсь еще, подъ условіями этой жизни, но это не моя жизнь. Все доброе, все хорошее въ другихъ - я чувствую, отзываюсь на это, какъ и на ваше приглашеніе, и только. Еслибъ вы предлагали мнѣ какое-нибудь удовольствіе, мнѣ было-бы пріятно видѣть ваше желаніе, а отъ самаго удовольствія я-бы отказался, потому что его нѣтъ для меня. Такъ и теперь вы все сдѣлали, пригласивъ меня, и дали мнѣ все, что я могу теперь принять. Прежде для меня было-бы истиннымъ удовольствіемъ повидаться съ вами у васъ... взглянуть на юную семью въ обстановкѣ природы со всей ея недоступимой красотой, которую батюшка передаетъ въ своихъ сочиненіяхъ такъ не-

подражаемо. Но этого прекраснаго удовольствія для меня теперь быть не можетъ. Это все кончилось. Вы знали Конст. Серг., который удить, курить, съ восхищеніемъ радуется жизни и природѣ въ каждомъ ея проявленіи, будь это зима или лѣто, будь это палящее солнце или дождь, промачивающій насквозь, — Конст. Серг., который любить слышать въ себѣ силы именно тогда, когда неудобство, стужа или что-нибудь подобное ихъ вызываетъ; который въ восхищеніи и крѣпнетъ на телѣтѣ, прыгающей по камнямъ, или подъ дождемъ, его всего обливающимъ, — Конст. Серг., который 28 верстъ проходитъ не присаживаясь, выпиваетъ сливокъ, потомъ квасу и отправляется еще, взваливъ на себя огромныя удилица, — удить. Теперешній Конст. Серг. не удить, не курить, смотреть и не видитъ природы, или болѣзненно ее чувствуетъ и даже отворачивается отъ нея; нѣженкой онъ не сдѣлается, слабымъ тоже, но не слышитъ въ себѣ этого пріятнаго ощущенія силъ, не ищетъ чего-нибудь понеудобнѣе и потяжелѣе; ему все равно, карета-ли или любимая телѣга, въ которой онъ прежде даже и стихи писалъ. Да, все для меня кончилось, жизнь моя кончилась; жизнь была хороша и исполнена прекрасныхъ радостей, и вотъ я помянулъ себя въ письмѣ къ вамъ. Благодарю-же васъ... за все радужіе, какое я видѣлъ-бы у васъ. Обнимаю васъ крѣпко... Я занимаюсь довольно; это я считаю своимъ долгомъ, который я долженъ выполнить. Постараюсь сдѣлать все, что могу, на что имѣю способности, и такимъ образомъ расплатиться съ долгами. Я точно собираюсь переѣхать и укладываюсь. Прощайте... Вашъ Константинъ Аксаковъ». Былъ и post-scriptum: «время дѣйствуетъ на меня совершенно наоборотъ противъ того, какъ полагаютъ».

Письмо это относится къ августу 1859 года.

Всю зиму К. С. чахнулъ; весной и лѣтомъ заболѣлъ такъ, что его отправили за границу; въ томъ-же 1860-мъ году онъ и скончался, 7-го декабря, вдали отъ родины, въ Греческомъ архипелагѣ, на островѣ Занте. Заграницей первоклассныя знаменитости, иноземные врачи дивились чахоткѣ и сухоткѣ этого богатыря, умирающаго съ тоски по своему отцѣ; собственно, вся и болѣзнь была въ этомъ. Доктора не давали лекарствъ, не прописывали рецептовъ, совѣтовали только развлекать его. Тогда Италія шумѣла именемъ Гарибальди; въ ней пробуждалось народное движеніе, не совѣтовали пускать туда, а указывали на какія-нибудь «увеселительныя» воды или даже на Парижъ, совѣтуя розить на разныя гулянья, а если въ театръ, то исключительно въ водевили, но жить такимъ образомъ для Конст. Серг. значило — не жить. Онъ уже умиралъ; послѣднія оставшіяся средства, хотъ для продленія послѣднихъ дней, медики свели на «теплый морской климатъ», и вотъ онъ попалъ на островъ Занте. Когда пароходъ везъ его къ этому послѣднему пристанищу, онъ съ болѣзненной грустью глядѣлъ въ волны и говорилъ своему неизмѣнному спутнику, сопро-

вождавшему его брату, Ивану Сергѣевичу Аксакову: «неужели однако ужъ и кончено? Какъ ни ожидалъ я, но чтобы такъ ужъ скоро, кто-бы думалъ?»

На пустынномъ островѣ не было русскаго православнаго священника для исповѣди больного; нашелся грекъ, едва говорившій порусски. У этого-то грека и исповѣдался умирающій на своемъ любимомъ языкѣ.

V. Славянофильская доктрина.

Теперь читатель знаетъ, съ кѣмъ имѣеть дѣло. Очевидно Аксаковъ не покривитъ душой, не утаитъ ничего, что у него на сердцѣ, и будетъ говорить съ искренностью вѣрующаго на исповѣди. Тѣмъ легче и интереснѣе ознакомиться съ его ученіемъ. Выросшее на почвѣ любви и ненависти, оно старалось однако опереться на историческія данныя и явиться въ свѣтъ въ наукообразной формѣ. Съ большимъ усердіемъ и несомнѣннымъ знаніемъ дѣла К. Аксаковъ привлекалъ исторію на свою сторону, постоянно доказывая и передоказывая слѣдующія основныя свои положенія.

«1) Народъ не нуждается ни въ какихъ указаніяхъ, въ особенности со стороны нашихъ нахватавшихся верховъ европейской цивилизаціи «культурныхъ людей».

«2) У народа есть свое стройное и устойчивое міросозерцаніе, не только вполне пригодное для ежедневной, сѣрой крестьянской жизни, но способное выдержать натискъ міросозерцанія людей, безконечно превосходящихъ мужика образованіемъ и социальнымъ положеніемъ.

«3) Въ частности, у народа есть своя самобытная нравственность и своя, если и не самобытная, то все таки окрашенная самостоятельнымъ пониманіемъ религіозность, на совокупности которыхъ и строятся социальныя отношенія крестьянской общины.

«4) Народная нравственность основана на чувствѣ справедливости. Это чувство народъ никогда не понимаетъ въ формальномъ математическомъ смыслѣ. Вотъ почему, строго блюдя интересы *всей* общины, онъ все-таки смотритъ затѣмъ, чтобы не только интересы меньшинства, но даже интересы отдѣльныхъ личностей не страдали бы отъ соблюденія мірскихъ выгодъ.

«5) Религіозность народа, какъ и нравственность его, не внѣш-

няя и не показная. Она есть удовлетвореніе внутренняго призыва къ добру.

«6) Источникъ нравственности и религіозности народа кроется въ исповѣдуемой имъ православной вѣрѣ. Когда староста Антонъ, пунктъ за пунктомъ, разрушилъ всю «сивилизаціонную» программу своего барина, между «сбитымъ совершенно съ толку» Луповицкимъ и его собесѣдникомъ произошелъ такой разговоръ *).

«Луп. Антонъ, ты гдѣ учился? Стар. Нигдѣ, батюшка. Луп. Грамотѣ умѣешь? Стар. Умѣю, батюшка. Луп. Что ты читалъ? Стар. Церковныя книги, батюшка».

«7) Совокупность всего вышесказаннаго создала глубоко-своеобразный правовой, экономическій и нравственный институтъ, — крестьянскій «міръ», который есть хранитель истинно-народныхъ традицій и панацея противъ тѣхъ золъ, которыя при иномъ строѣ повели бы къ цѣлому ряду социальныхъ и индивидуальныхъ несправедливостей».

Въ сущности говоря, всѣ эти семь членовъ аксаковского символа вѣры являются прямымъ и косвеннымъ укоромъ западно-европейской жизни. Нечего даже и говорить, чѣмъ больше всего дорожить Константинъ Аксаковъ. Онъ очевидно дорожитъ *живою нравственною связью* между людьми, которая поддерживается общинными укладами. При нихъ нѣтъ формальной справедливости, защищающей лишь интересы большинства, при нихъ есть полная свобода для проявленія внутреннихъ позывовъ къ добру, есть мѣсто для непрестанно дѣйствующей религіозности.

Чего лучше? Въ сущности противники Константина Аксакова могли только сказать ему: «вы нарисовали прекрасную картину своеобразнаго правоваго, экономическаго института. Мы не думаемъ оспаривать его достоинствъ. Признаемъ вмѣстѣ съ вами, что крестьянскій міръ дѣйствительно держится на религіознонравственныхъ устояхъ, что справедливость жизни осуществляется въ его обстановкѣ лучше, чѣмъ гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ. Только *покажите* намъ его, сдѣлайте для насъ очевиднымъ, что онъ дѣйствительно такъ хорошъ, какъ вы говорите, и мы—ваши».

Какъ бы предчувствуя эту оговорку, Константинъ Аксаковъ въ той же пьесѣ пошелъ ей на встрѣчу, и въ этомъ-то случаѣ особенно ясно и рѣзко проявилась «субъективная сторона его мышленія.

Есть въ этой пьесѣ кое-что, что не сразу бросается въ глаза

*) Въ комедіи К. Аксакова «Князь Луповицкій».

и требуетъ кое-какихъ разъясненій, — разъясненій, тѣмъ болѣе необходимыхъ, что дѣло идетъ объ основной чертѣ мировоззрѣнія Константина Аксакова. Крестьянскій бытъ онъ характеризуетъ исключительно въ мажорномъ, какъ выражается С. Венгеровъ, тонѣ. Краски получаются суздальскія — все больше красное съ золотомъ, — но въ высшей степени характерныя какъ для самого Аксакова, такъ и для всей славянофильской школы вообще. И является этотъ мажорный тонъ у Константина Аксакова потому, что происхожденіе его народолюбія не то, что у народолюбцевъ противоположнаго западническаго лагеря.

Если мы въ самомъ дѣлѣ присмотримся къ исторіи западническаго народолюбія, намъ не трудно будетъ убѣдиться, что источникъ его кроется въ *жалости* нравственно чуткихъ представителей русскаго культурнаго класса къ бѣдственному положенію мужика и въ чувствѣ раскаянія, которое они испытывали при мысли о своей причастности грѣху вѣковаго угнетенія крѣпостного раба.

«Когда въ началѣ сороковыхъ годовъ шедшія къ намъ изъ Франціи «филантропическія», по терминологіи того времени, идеи привели къ необыкновенно яркому пробужденію *общественныхъ* чувствъ и когда тѣ-же самыя «люди сороковыхъ годовъ», которые всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ тридцатыхъ годахъ, только и думали, что объ «абсолютахъ», о «святыхъ искусствахъ», о «вѣчной красотѣ», и тому подобныхъ метафизическихъ тонкостяхъ, теперь до мозга костей прониклись «политикой», вопросъ о народѣ не могъ не стать однимъ изъ центральныхъ вопросовъ времени. Поколѣніе, вся духовная жизнь котораго сосредоточилась на размышленіяхъ о томъ, справедливъ или несправедливъ существующій общественный строй, прежде всего стало болѣть душою за «униженныхъ и оскорбленныхъ» вообще и за русскаго крѣпостного мужика въ частности. Глашатай этого поколѣнія — «неистовый Виссаріонъ» съ тою же восторженною энергіею, съ которою онъ нѣкогда требовалъ отъ писателей служенія чистому искусству, началъ требовать отъ нихъ опредѣленной общественной тенденціи, подразумѣвая подъ нею, по преимуществу, все ту-же защиту «униженныхъ и оскорбленныхъ» вообще и мужика въ частности. И чутко внимавшіе пламенному искателю истины молодые таланты того времени поддались неотразимому вліянію горячѣй убѣжденности Бѣлинскаго и, точно сговорившись, почти въ одинъ и тотъ же годъ предстали предъ изумленною публикою съ

рядомъ превосходныхъ произведеній, въ основѣ которыхъ лежали самыя широкія симпатіи къ загнанному простолюдину. Явился Григоровичъ съ «Деревней» и «Антономъ Горемыкой», въ которыхъ впервые былъ показанъ человѣкъ въ крѣпостномъ мужикѣ, явился Тургеневъ съ «Записками Охотника», въ которыхъ то-же желаніе очеловѣчить мужика было проведено съ еще большею теплотою, явились первыя стихотворенія на народныя темы Некрасова, бросившаго подъ новымъ вліяніемъ прежніе «мечты и звуки» и посвятившаго отнынѣ свою музу народнымъ *страданіямъ* и психологіи народной души.

Для западниковъ, словомъ, мужикъ являлся несправедливо угнетеннымъ, несправедливо преслѣдуемымъ человѣкомъ. Его не столько любили, сколько жалѣли, иногда даже мучительно жалѣли, какъ загнаннаго раба.

Изъ діаметрально противоположнаго источника вытекло пародолобіе К. Аксакова. Мужикъ былъ дорогъ ему главнымъ образомъ, какъ хранитель истинно русскихъ преданій. Не потому онъ любилъ мужика, что мужикъ — нашъ меньшой братъ, имѣющій въ силу своего человѣческаго достоинства равное съ нами право на участіе въ жизненномъ пиршествѣ, а потому что онъ видѣлъ въ мужикѣ «живой обломокъ дорогаго ему древне-русскаго быта». И вотъ почему, совершенно закрывая глаза на реальную дѣйствительность и на тѣ печальныя условія, среди которыхъ протекала жизнь крѣпостного мужика, — К. Аксаковъ, нисколько не кривя душой, а просто опираясь на впечатлѣнія дѣтства, изображалъ эту жизнь въ самомъ розовомъ свѣтѣ — больше даже, какъ жизнь поистинѣ богатырскую, полную красоты, мощи, поэзіи. Такъ напр., въ «Князѣ Луповицкомъ» всѣ крестьяне очень зажиточны и въ порывѣ *великодушія* даютъ 800 рублей, изъ которыхъ сто приходится на долю старосты, представляющаго изъ себя опять таки не какого-нибудь вора-бурмистра, а высоко-честнаго человѣка, нажившагося исключительно «добродѣтелью», т. е. изъ источника доходовъ, совершенно въ наши дни дискредитированнаго. Дальше, когда еще неузнанный своими крестьянами Луповицкій стороною спрашиваетъ одну изъ попавшихся бабъ, какъ живетъ мужикамъ его деревни, она прямо говоритъ ему: «намъ грѣхъ Бога гнѣвить, намъ хорошо».

Заподозривать К. Аксакова въ неискренности и въ преднамѣренномъ разукрашиваніи — совершенно невозможно. Мужичьей жизни онъ въ сущности не зналъ и не видѣлъ, по характеру-же своему

онъ былъ склоненъ разсматривать все черезъ розовыя очки. «Все дѣло тутъ въ томъ, что, упрекая другихъ въ кабинетности и незнаніи народа, К. Аксаковъ, какъ улитка, прожившій всю свою жизнь въ раковинѣ отцовскаго дома, самъ болѣе другихъ былъ въ этомъ повиненъ и считалъ «знаніемъ» народа изученіе былинъ Владимірова цикла и лѣтописей». Поневолѣ ему все мерещились Ильи Муромцы, да Микулы Селяниновичи. Живые-же люди, съ которыми ему пришлось водить дружбу послѣ разрыва съ кружкомъ Станкевича и Бѣлинскаго,—всѣ эти Хомяковы, Аксаковы, Кирѣевскіе, наконецъ собственный отецъ его—были люди очень богатые и добрые, не имѣвшіе рѣшительно никакой надобности и никакого расположенія сколько-нибудь дурно обращаться съ своими крестьянами. «Если мы вспомнимъ,—говоритъ С. А. Веселовъ,—съ какимъ добродушіемъ относился Сергѣй Тимофеевичъ къ крѣпостному праву, то намъ станетъ вполне понятнымъ, что и въ сынѣ его, разъ онъ жизни не зналъ, только теоретическіе импульсы могли создать иное, болѣе озлобленное отношеніе. Но именно теоретическіе-то импульсы и направляли его на иные пути борьбы. Тѣ импульсы, которые вдохновляли бывшихъ друзей Константина Сергѣевича на возможно рѣзкій протестъ противъ темныхъ сторонъ крѣпостнаго права, для него были несимпатичны уже въ источникѣ своемъ, потому что помимо того, что они шли съ Запада, они говорили о враждѣ и фрондерствѣ, столь нелюбимыхъ имъ. Общее-же его міросозерцаніе и складъ восточно-русской натуры гнули въ сторону усматриванія положительныхъ сторонъ. Конечно это не умаляло степени нелюбви Константина Сергѣевича къ крѣпостному праву, въ ненависти къ коему онъ едва ли уступалъ кому-бы то ни было. Но со стороны, т. е. для читателя,—получалось очень странное впечатлѣніе, получался тотъ совершенно неумѣстный мажорный тонъ, то идиллическое изображеніе крѣпостнаго быта, по поводу коего каждый крѣпостникъ могъ сказать: «зачѣмъ отрицать крѣпостное право, когда при немъ такъ хорошо живетъ народу?»

Живую нравственную связь между людьми К. Аксаковъ нашелъ въ крестьянскомъ мірѣ. Но этотъ міръ былъ не чѣмъ инымъ, какъ обломкомъ древне-русскаго строя, къ выясненію и во схваленію котораго направлялись всѣ усилія К. Аксакова, какъ историка. Нечего и говорить, что субъективные элементы его мышленія находили и здѣсь обширное для себя пеприще—ничуть не

меньше, чѣмъ въ исторической комедіи «Князь Луповицкій». Въ сущности Аксаковъ — это рѣзко выраженная, чуткая индивидуальность — не зналъ себѣ никогда удержа. Онъ не могъ сообщить факта, тѣмъ менѣе истолковать его, не придавши ему окраски собственной личности. «Вѣрю, потому-что люблю, и хочу вѣрить, отрицаю — потому что ненавижу и не хочу вѣрить» — вотъ до чего доходилъ его субъективизмъ. Вообще, мнѣ думается, что защитникамъ субъективнаго мышленія въ социологіи или гдѣ тамъ было-бы не бесполезно перечитать сочиненія К. Аксакова. Передъ нимъ — они робкія дѣти, слѣпцы, поющіе Лазаря и неувѣренно ступающіе за повадыремъ. «Учитель» не боялся. Онъ извѣстенъ напр., какъ авторъ многихъ прекрасныхъ филологическихъ работъ, и несомнѣнно что онѣ были-бы образцовыми, еслибы не этотъ излюбленный нѣкоторыми нашими профессорами «субъективизмъ мышленія». Образчики его преинтересны.

Начать съ того, что въ самые мелочные, чисто спеціальные вопросы онъ вносилъ весь запасъ своего обычнаго страстнаго отношенія. Какъ уже замѣтилъ П. А. Безсоновъ, Константинъ Аксаковъ «особенно любилъ звукъ *з*, играющій столь видную роль у насъ и столь много способствующій разысканію филологическому; въ ту-же мѣру онъ возненавидѣлъ противника — звукъ *сз*, тою ненавистью, которую можетъ питать добрѣйшее сердце къ чему либо гнусному (!). Онъ расточалъ этому врагу прозвища «надобнаго», «назойливаго», «вторгавшагося пролазы», «услужливаго», «рабскаго»; онъ перенесъ сюда смыслъ приторной угодливости, чуждый собственному его лицу и прониклій къ намъ въ видѣ поддакиванія, какъ рабское «да-съ», «нѣтъ-съ»: по тому, какъ самъ говорилъ обыкновенно съ твердостью «да» или «нѣтъ», такъ навѣрное можно было считать признакомъ, что Аксаковъ недоволенъ или гнѣвенъ, когда онъ употреблялъ «да-съ», «нѣтъ-съ».

П. А. Безсоновъ констатируетъ приведенные факты съ чувствомъ умиленія, видя въ нихъ доказательство того, что Константинъ Сергѣевичъ держалъ свое знамя «грозна и честно», поражая имъ въ самое сердце ненавистное «сз»... Зато филологическія теоріи распускались пышно и разноцвѣтно.

Главная теорія заключалась въ вредоносномъ вліяніи на русскую грамматику иностранныхъ вѣяній. Эти воззрѣнія принадлежали не только иностранцамъ по паспорту, но и иностранцамъ въ сердцѣ своемъ, хотя-бы и чистокровно-русскимъ.

«Вмѣстѣ съ нашествіемъ иноземнаго вліянія на всю Россію, на

весь ея бытъ, на всѣ начала, и языкъ нашъ подвергся тому-же; его подвели подъ формы и правила иностранной грамматики, ему совершенно чуждой, и какъ всю жизнь Россіи, вздумали и его коверкать и объяснять на чужой ладъ. И для языка должно настать время освободиться отъ этого стѣсняющаго ига иностраннаго. Мы должны теперь обратиться къ самому языку, изслѣдовать, сознать его и изъ его духа и жизни вывести начала и разумъ его, его грамматику. Она не будетъ противорѣчить грамматикѣ общечеловѣческой, но *только и строго* общей, а совсѣмъ не общечеловѣческой — выразившейся извѣстнымъ образомъ у другихъ народовъ и только представляющей свое самобытное проявленіе этого общаго... Въ ней, въ русской грамматикѣ, можетъ быть, полнѣе и глубже явится оно, нежели гдѣ-нибудь. Кто изъ насъ станетъ отвергать общее человѣческое? Русский на него самъ имѣетъ прямое право, а не чрезъ посредство какого-нибудь народа; оно самобытно и самостоятельно принадлежитъ ему, какъ и другимъ, и кто знаетъ? можетъ быть *ему болѣе*, нежели другимъ, и можетъ быть міръ не видалъ еще того общаго человѣческаго, какое явить великая славянская, именно русская природа... Да возникнетъ-же вполнѣ вся русская самобытность и національность! Гдѣ-же національность шире русской? Да освободится-же и языкъ нашъ отъ наложеннаго на него ига иноземной грамматики, да явится онъ во всей собственной жизни и свободѣ своей» (т. II, стр. 405, 406).

Словомъ, «намъ непремѣнно нужно внести свои русскія воззрѣнія въ русское языкознаніе, и это тѣмъ болѣе необходимо, что русскія грамматическія формы гораздо совершеннѣе». «Я—говоритъ К. С. Аксаковъ—нисколько не завидую другимъ языкамъ и не стану натягивать ихъ поверхностныхъ формъ на русскій глаголъ». Выражаясь метафорически, можно сказать, что иностранныя воззрѣнія заставили щеголять русскій глаголъ въ нѣмецкихъ брюкахъ и пиджакѣ, тогда какъ ему слѣдовало-бы исключительно держаться мурмолки и полукафтана.

Сущность историческихъ трудовъ К. Аксакова сводится, по словамъ его біографа, къ четыремъ основнымъ положеніямъ: 1) что укладъ первоначальной русской жизни былъ не родовой, а общинно-вѣчевой, 2) что русскій народъ рѣзко отдѣлялъ понятіе земли отъ понятія о государствѣ, 3) что древне-русская допетровская Россія представляетъ собою картину высоко-идеальныхъ общественныхъ отношеній и 4) что русскій народъ есть носитель спеціально ему присущихъ высокихъ доблестей, которыя отводятъ ему особое, высокое мѣсто во всемірной исторіи.

Указаніе на могущественную роль общинно-вѣчевого начала въ старорусской жизни является несомнѣнно главной и прекрасной исторической заслугой К. Аксакова. Вѣдь Шлецеръ, Карамзинъ

и ихъ послѣдователи совершенно игнорировали «народъ», занимаясь исключительно «государствомъ». Чутье подсказало К. Аксакову, куда должно быть направлено вниманіе новыхъ изслѣдователей. Но мы только отмѣтимъ заслугу Аксакова; останавливаться же на ней, какъ прямо не относящейся къ дѣлу, мы не можемъ. Переходимъ поэтому ко 2-му пункту ученія, особенно основательно изложенному въ знаменитой «Запискѣ», поданной К. Аксаковымъ Александру II-му въ 1859 году.

«Русскій народъ,—говоритъ здѣсь К. Аксаковъ,—есть народъ не государственный, т. е. не стремящійся къ государственной власти, не желающій для себя политическихъ правъ, не имѣющій въ себѣ даже зародыша народнаго властолюбія. Русскій народъ, не имѣющій въ себѣ политическаго элемента, отдѣлилъ государство отъ себя и государствовать не хочетъ. Не желая государствовать, народъ предоставляетъ правительству неограниченную власть государственную. Взаимнъ того русскій народъ предоставляетъ себѣ нравственную свободу, свободу жизни и духа».

Этотъ второй пунктъ славянофильской доктрины—самый существенный. Устанавливая его, Аксаковъ хотѣлъ провести рѣзкую непереступаемую границу между русской исторіей и исторіей западноевропейской. Онъ хотѣлъ дальше показать, что за этой границей живутъ совсѣмъ особенные люди, принципиально противоположные остальнымъ представителямъ рода человѣческаго. Съ спокойной гордостью принялъ К. Аксаковъ знаменитый тезисъ Гегеля, что землю обитаютъ «die Menschen und die Russen», т. е. люди и русскіе, и придавъ ей то толкованіе, что русскіе — это Uebermensch'и, т. е. сверхъчеловѣки или «всечеловѣки», какъ выражался покойный Достоевскій. Почему-же? А потому, что они не хотятъ и не ищутъ, не хотѣли и не искали, не должны хотѣть и не должны искать ни права, ни власти, а лишь любви и правды.

Такъ ли оно въ дѣйствительности? Одинъ публицистъ, подвергнувъ рѣзкой критикѣ этотъ пунктъ славянофильства, пришелъ къ интереснымъ выводамъ, съ сущностью которыхъ мы сейчасъ же и ознакомимся.

Два важныя событія русской исторіи—призваніе варяговъ и избраніе въ цари Михаила Федоровича Романова—напрасно приводятся Аксаковымъ въ подтвержденіе его мысли. Сознаніе необходимости государственнаго строя и невозможности учредить его собственными средствами, вслѣдствіе постоянныхъ междоусобицъ, заставило новгородскихъ славянъ съ окрестными чудскими племенами при-

звать изъ-за моря объединяющій правительственный элементъ. Это призваніе чужой власти показало дѣйствительную нравственную силу русскаго народа, его способность освобождаться въ рѣшительныя минуты отъ низкихъ чувствъ національнаго самолюбія или народной гордости; но видѣть отреченіе отъ государственности, въ этомъ рѣшеніи создать государство во что-бы то ни стало — нельзя. Въ тѣ отдаленныя времена никакихъ абсолютныхъ государственныхъ формъ Европа (кромѣ Византіи) не знала, исторія непреложно свидѣтельствуетъ, что русскій народъ съ призваніемъ варяговъ нисколько не отказался отъ дѣятельнаго участія въ государственной жизни. Второе событіе, на которое ссылается Аксаковъ. — избраніе на царство Михаила Ѳеодоровича, какъ законнаго преемника прежней династіи, столь же мало годится для подтвержденія славянофильскаго взгляда. Не задолго до нашего смутнаго времени въ самой передовой странѣ западной Европы произошли аналогичныя событія; когда среди междоусобій и смутъ погибъ послѣдній король изъ дома Валуа, французскій народъ не учредилъ ни республики, ни постоянного представительнаго правленія, а передалъ полноту власти Генриху Бурбону, при внукѣ котораго государственный абсолютизмъ достигъ крайней степени своего развитія. Неужели однако изъ этого можно выводить, что французы — народъ не государственный, чуждающійся политической жизни и желающій только «свободы духа».

Если разсуждать, какъ Аксаковъ, то тотъ-же антиполитическій характеръ слѣдуетъ признать и за испанскимъ народомъ, который послѣ революціонныхъ смутъ конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка, какъ только избавился отъ нашествія иноземцевъ (подобно русскимъ въ 1612 г.), призвалъ къ себѣ законнаго государя и предоставилъ ему неограниченную монархическую власть. То-же и въ другомъ случаѣ.

Вообще для характеристики русскаго народа въ государственномъ отношеніи нѣтъ причины ограничиваться московской и петербургской эпохами. Если-же мы обратимся къ кievской Руси, то тутъ тезисъ Аксакова оказывается уже вполне несостоятельнымъ. По справедливому замѣчанію одного безпристрастнаго критика, этотъ тезисъ всего лучше опровергается собственными сочиненіями Константина Аксакова, въ которыхъ показывается положительное и рѣшающее участіе *народнаго* земскаго элемента въ русской политической жизни до-монгольскаго періода.

А между тѣмъ этотъ тезисъ о разграниченіи русскимъ наро-

домъ земли отъ государства былъ очень важенъ для К. Аксакова, ибо, принявши его, можно сразу провести рѣзкое различіе между русскимъ и западно-европейскими народами: эти послѣдніе политиканствуютъ, первый-же смиренно подаетъ мнѣнія, когда его о томъ спрашиваютъ. — Изъ своего тезиса К. Аксаковъ дѣлалъ слѣдующіе выводы:

Правительству—неограниченная власть государственная, политическая; народу—полная свобода нравственная, свобода жизни и духа (мысли и слова). Единственно, что самостоятельно можетъ и долженъ предлагать безвластный народъ полновластному правительству—это мнѣніе (слѣдовательно сила чисто нравственная),— мнѣніе, которое правительство вольно принять и не принять. Правительству—право дѣйствія, народу—право мнѣнія и слѣдовательно слова.

Не трудно видѣть, сколько метафизическаго тумана напущено въ эти немногія строки. Кто на самомъ дѣлѣ поручилъ К. Аксакову говорить отъ имени народа русскаго? «Взглядъ русскаго народа на затронутый предметъ, — говоритъ Вл. Соловьевъ—въ точности не извѣстенъ, позволительно однако думать, что значительное большинство этого народа рѣшительно предпочло-бы свободу отъ податей и отъ военной повинности: самой полной свободѣ слова». На самомъ дѣлѣ странно было-бы воображать себѣ англоманствующихъ подлиповцевъ, но Аксаковъ съ наивностью кабинетнаго человѣка выдаетъ свои культурныя вожелѣнія за общенародныя. Въ подтвержденіе своей мысли онъ ссылается на то, что «нашъ народъ во время призванія варяговъ хотѣлъ оставить для себя свою внутреннюю собственную жизнь—жизнь мирную духа». Что хотѣлъ и чего не хотѣлъ нашъ народъ во время призванія варяговъ,—вещь темная, и приписывать ему можно какія угодно желанія. Только кому какое дѣло до того, о чемъ мечтали Гостомыслы IX-го вѣка?

Такимъ образомъ аргументація К. Аксакова, несмотря на благородство и чистоту его наміреній, оказывается совершенно неубѣдительною. Онъ не замѣчаетъ даже, въ какое жестокое противорѣчіе приходится ему впасть. Разъ полновластное правительство и безвластный народъ—догматы, то какъ можно даже заикаться о какой-бы то ни было свободѣ слова? «Вѣдь свобода слова—одно изъ крупнѣйшихъ политическихъ приобрѣтеній западныхъ народовъ.

Не политическій, а нравственный путь развитія считаетъ Аксаковъ истинно русскимъ путемъ. Къ этому взгляду приспо-

соблено и пригнано все повиманіе имъ русскаго прошлаго. «Онъ твердитъ каждую минуту, что русскій народъ никогда не хотѣлъ власти, всегда даже отрещивался отъ нея, какъ отъ навожденія. Онъ не признаетъ никакихъ исключеній изъ этой своей всеобъемлющей формулы. «Многіе думаютъ о Новгородѣ — пишетъ онъ напр. — какъ о наиболѣе мѣнявшемъ князей, что онъ былъ республика: совершенно ложно! Новгородъ не могъ оставаться безъ князя. Возьмите новгородскую лѣтопись, прочтите, съ какимъ ужасомъ говоритъ лѣтописецъ о томъ, что они три недѣли были безъ князя».

По мнѣнію Аксакова, черезъ всю исторію Россіи, начиная съ древнѣйшихъ временъ ея и вплоть до междоусобицъ и Петра, проходитъ это рѣшительное отрещиваніе отъ власти. «Государство (т. е. власть) никогда у насъ не обольщала собой народа, не плѣняло народной мечты; вотъ почему, хотя и были случаи, не хотѣлъ народъ нашъ облечься въ государственную власть, а отдавалъ эту власть избранному имъ и на то назначенному государю, самъ желая держаться своихъ внутреннихъ, жизненныхъ началъ.

Поэтому-то наше развитіе совершенно другое, чѣмъ европейское. Европейскіе народы шли путемъ *внѣшней* правды, русскій — путемъ *внутренней*. Говоря подробнѣе, видно, что дѣло обстоитъ слѣдующимъ образомъ:

«Нравственное дѣло, — пишетъ Аксаковъ, — должно и совершаться нравственнымъ путемъ, безъ помощи внѣшней, принудительной силы. Вполнѣ достойный путь одинъ для человѣка, путь свободнаго убѣжденія, путь мира, тотъ путь, который открылъ намъ Божественный Спаситель, и которымъ шли Его Апостолы. Это путь *внутренней правды*».

Существуетъ однако и «другой путь, гораздо повидимому болѣе удобный и простой; внутренний строй переносится во внѣ, и духовная свобода понимается только какъ *устройство, порядокъ*; основы, начала жизни понимаются какъ правила и предписанія. Все формулируется. Этотъ путь не внутренней, а *внѣшней правды*, не совѣсти, а принудительнаго закона».

Послѣднимъ путемъ, «путемъ внѣшней правды, путемъ государства двинулось западное человѣчество». Такой путь гибеленъ. «Формула, какая-бы то ни была, не можетъ обнять жизни; потому налагаясь извнѣ и являясь принудительною, она утрачиваетъ самую главную силу, силу внутреннего убѣжденія и свободнаго

ея признанія; потомъ далѣе, давая такимъ образомъ чело-вѣку возможность опираться на законъ, вооруженный принудительной силой, она усыпляетъ склонный къ лѣни духъ человѣческій, легко и безъ труда успокоивая его исполненіемъ наложенныхъ формальныхъ требованій и избавляя отъ необходимости внутренней нравственной дѣятельности и внутренняго нравственнаго возрожденія).

Русскій-же народъ пошелъ путемъ *внутренней* правды. «Подъ вліяніемъ вѣры въ нравственный подвигъ, возведенный на степень исторической задачи цѣлаго общества, «создался «мирный и кроткій характеръ древне-русского народа», благодаря которому онъ, не желая государствовать, *добровольно* призвалъ государственную власть извнѣ. Добровольность призванія государства имѣетъ въ глазахъ Конст. Сергѣевича особенную цѣну, потому что оно рѣзко отдѣляетъ процессъ народженія государства въ Россіи отъ процесса его народженія на Западѣ, гдѣ онъ совершился путемъ завоеванія. Вслѣдствіе добровольности призванія въ Россіи земля и государство, хотя «и не сжѣшались, а отдѣльно стояли», все-таки находились «въ союзѣ другъ съ другомъ. Въ призваніи добровольномъ означились уже отношенія земли и государства—взаимная довѣренность съ обѣихъ сторонъ. Не брань, не вражда, какъ это было у другихъ народовъ вслѣдствіе завоеванія, а миръ—вслѣдствіе добровольнаго призванія».

Этотъ-то миръ между властью и народомъ, эта-то живая нравственная связь между государствомъ и землею-были, по К. Аксакову, нарушены реформою Петра. До той поры все шло, какъ слѣдуетъ: правительство не вмѣшивалось въ народную жизнь и ничѣмъ не стѣсняло ея свободу, а народъ не вмѣшивался въ дѣла управленія... При Петрѣ Великомъ правительство измѣнило русскому идеалу, уклонилось съ русскаго пути, отнявши у народа свободу жизни и мнѣній, подчинивши его бюрократической регламентаціи и т. д. Теперь правительство должно внять голосу вновь возникшаго (въ славянофильствѣ) русскаго самосознанія и возстановить нарушенное имъ истинное отношеніе между государствомъ и землею; оно должно возвратить народу полноту его жизненной свободы, оставляя себѣ полноту власти и политическихъ правъ. «Въ противномъ случаѣ слѣдуетъ, по мнѣнію Аксакова, ожидать, что народъ, испорченный послѣ-петровскою исторіею и соблазненный дурнымъ примѣромъ государства, въ свою очередь измѣнитъ истинному-русскому пути съ своей

стороны, нарушить идеалъ русскаго строя, станетъ добиваться политическихъ правъ, вступить на западно-европейскій путь».

Чтобы избѣгнуть этого, К. Аксаковъ даетъ свой знаменитый совѣтъ «назадъ», въ до-петровскую Русь, которая представлялась ему чѣмъ-то вродѣ Аркадіи, гдѣ мудрые пасли стада смиренномудрыхъ вѣрноподданныхъ. Мы нисколько не преувеличиваемъ дѣла. Излагая древнерусскую исторію, Аксаковъ говоритъ между прочимъ:

«Явился великій князь и потомъ царь московскій и всея Руси, наслѣдственный и самодержавный. Отношеніе земли и государства, народа и правительства, прежняя взаимная довѣренность—были основою ихъ отношеній. Подобно тому, какъ князь созывалъ вѣче, царь созывалъ земскую думу или земскій соборъ. Народъ не требовалъ, чтобы государь спрашивалъ его мнѣнія. Государь не опасался спрашивать мнѣнія народа. Кто читалъ эти думы, тотъ знаетъ, какъ просто излагалось въ нихъ дѣло. Спрашивали обыкновенно выборныхъ отъ всѣхъ сословій; они говорили: мысль наша такова, а тамъ, какъ будетъ угодно государю. Не личное самолюбіе, не гордость западной свободы была здѣсь, а обоюдное искреннее желаніе пользы. Здѣсь не ораторствовали, а говорили, и слово не превышало дѣла».

Или:

«Русь не понимала рабства,—намѣчалъ въ общихъ чертахъ Константинъ Сергѣевичъ свою главную мысль,—къ тому-же въ ней нѣтъ ни либерализма, ни рабства. Свободная страна, Западъ началъ съ рабства, прошелъ сквозь бунтъ и хвастаетъ холопской дерзостью либерализма...

«Западъ имѣетъ опытность грѣха; онъ ужъ узналъ всѣ мерзости и установилъ свои отношенія. Кому-же, какъ не лисѣ, всѣ лисьи норки знать? Русь не имѣла этой опытности и поневолѣ попала въ рабство.

«Большая разница между грѣхомъ и порокомъ. Въ древней Руси есть грѣхи, но нѣтъ пороковъ». Вотъ бы гдѣ побывать!!

* * *

Читатель навѣрное спроситъ, съ какой это стати такъ долго удерживали его вниманіе на ученіи, которое, созданное кабинетнымъ иллюзіонеромъ и мечтателемъ, давнымъ-давно отжило свой вѣкъ.

Но, во-первыхъ, чѣмъ богаты—тѣмъ и рады. Славянофильство—во всякомъ случаѣ единственная оригинальная система русской философской мысли, во-вторыхъ, — сила ея совсѣмъ не въ аргументахъ, вообще слабыхъ и слишкомъ произвольныхъ.

Аргументы эти едва-ли могутъ убѣдить кого нибудь въ настоящее время, но они какъ нельзя болѣе характерны для пониманія духа создавшей ихъ эпохи и того класса общества, къ которому принадлежали ихъ защитники.

Какъ видить всякій, въ системѣ Аксакова все сводится къ противорѣчію между понятіями «моральность» и «легальность». Одна сила свѣтлая, другая—темная. Одно начало западно-европейское, другое—наше, русское, историческое и въ то же время національное. «Моральность» опирается на любовь, на довѣріе, вообще на внутренняго человѣка, на божественную искру, заложенную въ каждомъ изъ насъ; легальность—на сводъ законовъ, статьи и уставы, словомъ,—на внѣшнюю силу и на права, приобрѣтенныя насиліемъ. Никто и теперь не можетъ сомнѣваться въ томъ, что моральность выше легальности, что жить «по Божьи» куда лучше, чѣмъ по уставу или по принужденію; но развѣ исторія выбираетъ когда нибудь между лучшимъ или худшимъ въ нравственномъ смыслѣ этихъ словъ? Она идетъ своей дорогой и эта дорога удобства или, вѣрнѣе, соотношенія общественныхъ силъ. Она всегда давала и даетъ перевѣсъ сильному надъ слабымъ и, прежде чѣмъ наградить человѣка правами, говоритъ ему: сначала приобрѣти ихъ, а потомъ сѣмъѣй защищать. Ничего сентиментальнаго, сердечнаго нѣтъ въ прошлыхъ лѣтописяхъ земли, состраданіе и жалость доступны личностямъ, а не массамъ, любовь руководить отдѣльными поступками, но бессильна противъ хода общественной жизни. Эта послѣдняя знаетъ свою богасправедливость, но и справедливость является часто механической, и внѣшней. Успѣхъ исторической борьбы обусловливается не *нравственнымъ* превосходствомъ одной изъ борющихся сторонъ надъ другой, а превосходствомъ ея силы вообще, причемъ нравственная сила входитъ лишь какъ элементъ всей совокупности силъ—физическихъ, умственныхъ, матеріальныхъ. Вооружившись любовью, и добродѣтелью, нельзя выступать противъ скорострѣльныхъ ружей, и исторія международныхъ отношеній Европы ежеминутно подтверждаетъ эту простую и элементарную истину.

Но она была совершенно недоступна К. Аксакову, какъ недоступна она теперь графу Толстому. Напротивъ, все толкало славянофильскаго пророка въ сторону ея отрицанія и полного пренебреженія ею. Онъ органически не могъ не признавать превосходства моральности надъ легальностью уже потому, что ключемъ для пониманія всѣхъ жизненныхъ явленій, основой, на которой онъ воздвигалъ всѣ свои идеалы, была *семья*, гармонически сложившаяся, живущая въ мирѣ, любви и спокойствіи,—такая т. е., среди которой онъ выросъ самъ.

Жизнь западно-европейскихъ народовъ представлялась ему хо-

лодной и мертвой. Онъ не могъ восторгаться культурой и цивилизаціей, потому что ясно и основательно видѣлъ, какъ культура и цивилизація обездушиваютъ человѣка, опустошаютъ его нравственный міръ и дѣлаютъ изъ него живого мертвеца, въ которомъ совершенно изсякло духовное, любовное начало. Онъ ненавидѣлъ отношенія между людьми, основанныя лишь на контрактѣ. Онъ хотѣлъ живой связи, живого общенія. Гдѣ-же найти ихъ? Семья, разумѣется, даетъ первый и лучшій примѣръ такого рода жизни. Отецъ—глава семьи, ея руководитель, ея царь, у него полнота правъ и власти, но эти права и эта власть охотно признаются всѣми чадомъ и домочадцами, потому что въ ихъ проявленіяхъ нѣтъ ничего принудительнаго, насильственнаго. Отецъ правитъ, но правитъ любовно, вліяя лишь авторитетомъ своей нравственной силы, и такимъ путемъ подчиненіе и свобода мирно уживаются другъ съ другомъ. Въ семьѣ нѣтъ начальства, а есть руководитель, нѣтъ насилія, а есть убѣжденія, нѣтъ рабства, а есть свобода личности, добровольно повинующейся.

То-же самое К. Аксаковъ мечталъ найти и въ старорусской исторіи. Онъ восторгался былинами и эпосомъ, даже московскими порядками, потому что прежняя Россія казалась ему такой похожей на любезную сердцу Аксакову. Власть и народъ находились между собой въ живомъ общеніи; ничто не стояло между ними, никто не стремился воплотить въ статьи и формулы связующую ихъ любовь.

Угловатости славянофильской доктрины исчезли или замѣнились другими, но ея настроеніе, это настроеніе національной гордыни,—живо еще и понынѣ. Вѣдь недавно еще одинъ профессоръ, чуть не академикъ, торжественно заявилъ: «насъ не можетъ радовать похвала нѣмцевъ, но можетъ радовать ихъ порицаніе: значитъ, мы не похожи на нихъ». Но къ этой живучести славянофильства мы еще вернемся, пока же нѣсколько словъ о его положительной роли въ русской жизни, положительной къ тому-же совершенно случайно.

Нечего, я думаю, и пояснять, что между народническими идеалами К. Аксакова и идеалами управы благочинія не было ничего общаго. Онъ ошибался: обманывая себя, онъ обманывалъ другихъ,—это грѣхъ передъ исторіей, но онъ не гнулъ своей совѣсти, не напаяливалъ не нее вицмундира; онъ защищалъ достоинство человѣческой личности и ея свободу, какъ могъ, какъ понималъ ихъ. Свобода слова—вотъ самый конкретный практическій пунктъ его уче-

нiя, и онъ потратилъ на него не меньше страсти, чѣмъ на защиту до-петровской всероссiйской добродѣтели. Позволю себѣ привести одно стихотворенiе, сохранившееся въ его бумагахъ. Онъ пишетъ:

Ты — чудо изъ божьихъ чудесъ,
Ты — мысли свѣтильникъ и пламя,
Ты — лучъ намъ на землю съ небесъ,
Ты — намъ челоуѣчества знамя...
Ты гонишь невѣжества ложь,
Ты вѣчно жизнью ново,
Ты къ свѣту, ты къ правдѣ ведешь,
Свободное слово.

Лишь духу власть духа дана, —
Въ животной-же силѣ нѣтъ прока:
Для истины — гибель она,
Спасенье — для лжи и порока;
Враждуетъ-ли съ ложью — равно
Живить его жизнью новой...
Неправдѣ — опасно одно
Свободное слово!

Ограды властямъ никогда
Ни зижди на рабствѣ народа!
Гдѣ рабство — тамъ бунтъ и бѣда:
Защита отъ бунта — свобода.
Рабъ въ бунтѣ опаснѣй звѣрей,
На ножъ онъ мѣняетъ оковы...
Оружье свободныхъ людей
Свободное слово!

О слово, даръ Бога святой,
Кто слово, даръ божескiй, свяжетъ,
Тотъ путь челоуѣку иной, —
Путь рабства преступный укажетъ,
На козни, на вредную рѣчь
Въ тебѣ жъ и цѣленье готово,
О, духа единственный мечъ
Свободное слово!

(С. А. Венгеровъ, т. I, стр. 227.)

Одно уже это стихотворенiе должно сдѣлать очевиднымъ для читателя тотъ фактъ, что К. Аксаковъ, несмотря на свою безусловную преданность устоямъ русской жизни, числился въ ряду оппозицiи и признавался краснымъ. Въ этомъ отношенiи онъ раздѣлялъ участь, общую всѣмъ главарямъ славянофильства. Въ нихъ находили слишкомъ много свободы и самостоятельности, было подозрительно уже то, что они рѣшались говорить и думать, когда все

вокругъ молчало. Когда въ 1852 г. они задумали издавать «Московской Сборникъ», долженствовавшій замѣнить всѣ прежніе неудачные журналы, благополучно проскочилъ черезъ цензуру лишь первый томъ, а второй томъ и не появился на свѣтъ Божій.

Любопытно поэтому привести документъ, изъ котораго видно, какъ относилась къ К. Аксакову цензура того времени. Въ запискѣ министра народнаго просвѣщенія С. Уварова, перепечатанной въ «Исторіи русской цензуры» А. М. Скабичевского, мы читаемъ между прочимъ:

«Въ статьѣ Аксакова о богатыряхъ—читаемъ мы—изображеніе характера и подвиги Добрыни Никитича, Ильи Муромца, Ставра, Рахдая и другихъ богатырей, а равно пиры и домашняя жизнь самого Владиміра не такъ, какъ повѣствуетъ исторія, а какъ описывается въ древнихъ русскихъ сказкахъ и пѣсняхъ».

«Подобно Хомякову, К. Аксаковъ старается отыскать въ сказкахъ и пѣсняхъ признаки того же небывалаго въ Россіи общиннаго порядка дѣлъ. Въ одной пѣснѣ сказано, что Владиміръ, дѣлая пиръ у себя, приказалъ брать со всякаго званого по 10 рублей, и К. Аксаковъ говоритъ: «Весьма замѣчательное указаніе: и такъ этотъ княжескій пиръ—складчина; пиры складчиною—явленіе совершенно русское и древнее; вспомнимъ *братчины* напимѣръ, братчину Никольщину, гдѣ складочный пиръ и вмѣстѣ союзъ, въ которомъ выбирается и пировой староста, это также чисто общинное явленіе; это вольное видоизмѣненіе *саморядной общины*, ея отпрыскъ... Къ такимъ же *общиннымъ явленіямъ*, возникшимъ изъ самой *коренной общины*, причисляемъ мы *артель* и даже казацкое устройство». Этого мало, даже въ хороудѣ сочинитель видитъ образъ *русской общины*.

«Изъ другихъ пѣсней К. Аксаковъ выводитъ, что богатыри сидѣли у Владиміра не по аристократическому праву награды, и прибавляетъ, что «аристократическое понятіе, образовавшееся на Западѣ рыцарствомъ, не существовало въ древней Руси; на богатырской скамьѣ сидѣли и Ставръ, богатый бояринъ, и Алеша, сынъ попа, Иванъ, сынъ гостя (купца), и наконецъ Илья Муромецъ, крестьянинъ: *встѣмъ имъ равный почетъ*». Отношенія богатырей къ великому князю *почтительны, но не подобострастны; они вольно собирались вокругъ него, зовутъ его краснымъ солнцемъ. солнцемъ Кіевскимъ, охотно служатъ ему службы, но ни въ чемъ не выражается униженное или придворное изъ отношеніе къ великому князю; битвы, подвиги, свадьбы и пиры со-*

ставляютъ вѣѣшній строй этой жизни, въ которой слышатся *воля и приволье*».

«К. Аксаковъ указываетъ на мѣста въ пѣсняхъ, гдѣ *Соловей-разбойникъ* называетъ князя воромъ; богатырь *Тугаринъ-Змѣевичъ* пѣлуетъ великую княгиню въ уста сахарныя, а *Алеша Поповичъ* чуть не назвалъ ее сукою... Сверхъ того К. Аксаковъ обращаетъ вниманіе на пѣсню, въ которой описывается нашествіе на Кіевъ татарскаго царя Калины. Хотя это и непріятельскій царь, но все неприлично, что сочинитель выписываетъ изъ пѣсни слѣдующіе стихи:

Собака, проклятый ты, Калинъ царь!
 Васъ то царей не бьютъ, не казнятъ,
 Не бьютъ, не казнятъ и не вѣшаютъ!

«Пѣсни и сказки, на которыхъ К. Аксаковъ основалъ статью свою, большею частью напечатаны; всѣ читали ихъ, относя безцеремонные поступки богатырей къ простотѣ древнихъ нравовъ или вымыслу составителей сказокъ: одинъ К. Аксаковъ могъ вывести изъ нихъ—небывалыя въ Россіи—общину, вольницу и дерзаетъ богатырей ставить противъ великаго князя!...

«Константинъ Аксаковъ написалъ еще «Примѣчаніе къ статьѣ Шеннига: «Купало и Коляда». Въ этихъ примѣчаніяхъ онъ нѣсколько разъ опять упоминаетъ *объ общинной жизни* въ древней Руси, утверждая, будто бы *общинное начало неотъемлемо соединено съ существомъ славянина*. Онъ говоритъ также: *лѣсъ, поле, рѣка принадлежатъ всѣмъ: такъ семья исчезаетъ*». Мысль совершенно коммунистическая.

«Еще въ «Московскомъ Сборникѣ» находятся два стихотворенія К. Аксакова, ничтожныя по содержанію, но и въ нихъ есть непонятныя мысли и говорится о человѣкѣ, котораго *духъ свободенъ и открытъ*». Вообще-же К. Аксакову дана слѣдующая характеристика:

«Константинъ Аксаковъ, магистръ московскаго университета, живетъ въ Москвѣ, пропитанъ славянофильствомъ. Въ 1846 году онъ напечаталъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» статью: «Семистолѣтіе Москвы». Въ этой статьѣ, сверхъ неумѣстныхъ доказательствъ и преимуществъ Москвы, какъ столицы имперіи, передъ С.-Петербургомъ, высказывались вообще мысли, несообразныя съ монархическимъ правленіемъ. За эту статью и сочинителю, и цензору сдѣлано было строгое замѣчаніе. Этотъ молодой человѣкъ не безъ ума и образованъ, добросовѣстенъ и хорошей нравственности, но его, какъ фанатика, трудно убѣдить въ ложности его мнѣній».

Но онъ былъ подозрителенъ еще и по другой причинѣ. Какъ сказано выше, его идеалъ свободно укладывается въ формулы: «патріархальность» и живая нравственная связь между государствомъ и землей. Припомните теперь характеристику николаевской эпохи, сдѣланную Любимовымъ, и вы сейчасъ поймете, что нельзя было не заставить замолчать московскаго милленарія. Съ точки зрѣнія К. Аксакова чиновничество и было тѣмъ средостѣніемъ, которое мѣшало установленію живой нравственной связи, тѣмъ узурпаторомъ, который отнялъ у народа свободу духа и замѣнилъ ее предписаніями.

К. Аксаковъ былъ наконецъ подозрителенъ просто потому, что отличался отъ другихъ своими рѣчами, взглядами и даже костюмомъ. Онъ носилъ мурмолку и бороду... а вѣдь чортъ ихъ знаетъ, что значать мурмолка и борода. А нѣтъ ли тутъ измѣны? спрашивали Амосы Ѳеодоровичи, и, разумѣется, измѣна нашлась. Въ 1853 г. вышелъ знаменитый указъ министра внутреннихъ дѣлъ, которымъ объявлялось несовмѣстнымъ съ дворянскимъ званіемъ ношеніе бороды.

VI. Иванъ Аксаковъ. — Немезида славянофильства. — Славянофильство, какъ классовая теорія.

«Внутреннее противорѣчіе между требованіями истиннаго патріотизма, желающаго, чтобы Россія была какъ можно лучше, и фальшивыми притязаніями націонализма, утверждающаго, что она и такъ всѣхъ лучше, — это противорѣчіе погубило славянофильство какъ ученіе, но оно же составляетъ несомнѣнное преимущество старыхъ славянофиловъ, какъ людей и дѣятелей, сравнительно съ ихъ позднѣйшими преемниками — псевдопатріотами. Они питались иллюзіями — это такъ, но, благодаря своему возвышенному нелицемѣрному настроенію, — въ важныя критическія минуты для русскаго общества, когда вопросы ставились на жизненную практическую почву, старые славянофилы бросали въ сторону мечты и претензій народнаго самоишнѣнія, думали только о дѣйствительныхъ нуждахъ и бѣдахъ Россіи, говорили и дѣйствовали какъ истинные патріоты.

«Во время осады Севастополя, — пишетъ Ю. Ѳ. Самаринъ, — въ самую пору мучительнаго для нашего самолюбія отрезвленія, когда очарованія одно за другимъ спадали съ нашихъ глазъ и передъ нами

выступали все безобразіе, вся нищета нашей дѣйствительности, на одномъ вечерѣ, въ пріятельскомъ кругу, Хомяковъ былъ какъ-то особенно веселъ и безпеченъ и на неудомѣніе одного изъ друзей, какъ можетъ онъ смѣяться въ такое время, отвѣчалъ: «я плакалъ про себя тридцать лѣтъ, пока вокругъ меня все смѣялось. Поймите же, что мнѣ позволительно радоваться при видѣ всеобщихъ слезъ ко спасенію». Говорить о спасеніи Россіи, да еще посредствомъ самоосужденія, путемъ горькаго сознанія во всемъ безобразіи и во всей нищетѣ нашей дѣйствительности—не явнали эта измѣна и отступничество? И дѣйствительно Хомяковъ и его единомышленники подверглись хотя и запоздалой, но все-таки внушительной анафемѣ отъ представителей «новѣйшаго зоологическаго патріотизма».

Еслибы «любовь» была не производной, а производящей силой, еслибы историческая дѣйствительность подчинялась мечтамъ человѣка, еслибы жизнь народа была свободой, а не необходимостью,—славянофильство, въ виду громадныхъ затраченныхъ на него нравственныхъ и умственныхъ силъ, могло бы быть плодотворнымъ. Но благородство, добродѣтель, искренность, сопровождаемая иллюзіями, не котируются на биржѣ дѣйствительности. «У славянофиловъ, какъ и у насъ,—говоритъ одинъ ихъ теоретическій противникъ,—запало съ раннихъ лѣтъ одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминаніе, а мы—за пророчество, чувство безграничной, охватывающей все существованіе любви къ русскому народу, русскому быту, къ русскому складу ума. И мы, какъ Янусъ, какъ двуглавый орелъ, смотрѣли въ разныя стороны въ то время, какъ сердце билось одно».

Но дѣйствительность мститъ за невниманіе къ себѣ и мститъ подъ-часъ очень жестоко. Какъ и чѣмъ отомстила она славянофильству—увидимъ сейчасъ.

Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ умеръ съ небольшимъ 40-ка лѣтъ, успѣвши достаточно разочароваться въ жизни, но не въ своей теоріи. Онъ умеръ тѣмъ самымъ «большимъ ребенкомъ», про котораго отецъ его писалъ какъ-то: «кажется, остается желать, чтобы онъ на всю жизнь оставался въ своемъ пріятномъ заблужденіи, ибо прозрѣніе невозможно безъ тяжкихъ и горькихъ утратъ: такъ пусть его живетъ да вѣрить Руси совершенству». Не то случилось съ братомъ его, Иваномъ Сергѣевичемъ Аксаковымъ.

Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ, младшій сынъ Сергѣя Тимофеевича, родился 26 сент. 1823 г., въ селѣ Надеждинѣ, Белебеевскаго уѣзда, Уфимской губерніи. Деревенскія впечатлѣнія его еще слабѣе, чѣмъ у старшаго брата Константина, потому что всего 4-хъ лѣтъ отъ роду его перевезли въ Москву. Учился онъ однако не здѣсь, а въ Петербургѣ, въ «институтѣ» правовѣдѣнія, которое и закончилъ въ 1842 году. Идя по обычной дорогѣ, онъ поступилъ въ «страннопріимный» Сенатъ московскій, тогда еще существовавшій. Естественно, что у молодого, горячаго юноши, поклонника Шиллера и Гёте, еще въ ученическіе свои годы исходившаго лѣтомъ всю Германію и поклонявшагося разнымъ святынямъ поэзіи и философіи, нисколько не лежало сердце къ чиновничьей карьерѣ. Въ написанной имъ въ то время «Мистеріи въ трехъ періодахъ», — «Жизнь чиновника» — герой перваго періода «будущій чиновникъ» задаетъ себѣ гамлетовскій вопросъ:

Служить иль не служить? да, вотъ вопросъ!
Какъ сильно онъ мою тревожитъ душу!
Не я-ль мечталъ для *общей пользы жить*?
Ужель теперь я свой обѣтъ нарушу?

Демонъ службы шепчетъ ему:

И начальство высшее, дорожа тобой,
Грудь украситъ лентою, осынитъ звѣздами...
Не ища фортуны милости случайной,
Будешь ты дѣйствительный, будешь ты и тайный...

Во второмъ періодѣ, когда герой «Мистеріи» поступилъ уже на службу, прежніе порывы и прежнія колебанія исчезли. Онъ мечтаетъ теперь лишь о крестѣ, который и получаетъ за свою угодливость и лѣстливость.

Въ третьемъ періодѣ герой «Мистеріи», ставшій генераломъ, подводитъ итоги своей жизни, и что же долженъ сказать онъ о себѣ передъ судомъ проснувшейся совѣсти?

Да, счастье пошлое судьба мнѣ даровала,
Занятъ «дѣльными» мой иссушили умъ,
И грудь чиновника ничто не волновало:
Лишь служба — вотъ предметъ моихъ привычныхъ думъ.

Съ грустью вспоминая прежнее, онъ говоритъ:

А памяты мнѣ прежніе тѣ годы.
Когда былъ молодъ я и на своемъ пути
Такъ смѣло выжидалъ житейскія невзгоды...
Но жизнь прожить — не поле перейти.
Душа тогда прекрасное любила,
Порывы доблести мнѣ волновали грудь.
Но жизнь бумажная въ ней свѣжесть погубила

И охватилъ меня избранный мною путь.
 И грустно думать мнѣ, что тщетно я трудился,
 Что даромъ отдалъ жизнь на жеріву службѣ я,
 Что труженикомъ здѣсь ничтожнымъ я явился,
 Что не своей я шель дорогой бытія!
 Что отъ моей усердной, долгой жизни,
 Отъ моего служебнаго труда
 Ни пользы никому, ни блага для отчизны,
 Ни свѣтлой памяти, ни яснаго слѣда.

Легко понять, кѣмъ было навѣяно такое отрицательное отношеніе къ бюрократическимъ идеаламъ. Не говоря уже о «Горѣ отъ ума» и «Ревизорѣ», Иванъ Сергѣевичъ въ славянофильскомъ кружкѣ наслушался не мало самыхъ страстныхъ репликъ противъ чиновничества «этого средостѣнія», этой «гангрены русской жизни».

Послѣ недолгой, бесполезной и томительной по своей бесполезности службы въ московскомъ сенатѣ, — этомъ удивительномъ архивѣ государственныхъ старцевъ, Ивана Сергѣевича потянуло въ народъ. «И вотъ онъ уѣзжаетъ въ глушь, поступаетъ въ уголовную палату, сначала калужскую, потомъ астраханскую. Какъ совершенно вѣрно сказалъ кто-то послѣ смерти Аксакова, отъѣздъ въ провинцію изъ столицы, гдѣ, при огромныхъ связяхъ Сергѣя Тимофеевича и славянофильскаго кружка, онъ могъ бы сдѣлать самую блестящую карьеру, былъ своего рода хожденіемъ въ народъ». Честный, молодой, горячій, онъ попалъ въ ту обстановку, которая бросала мрачную тѣнь на всю русскую жизнь. Россія въ то время, по словамъ Хомякова, была «въ судахъ черна неправдой черной»... Тяжела, утомительна, не по силамъ одному человѣку была борьба съ этой черной неправдой.

«Знавшіе Ивана Сергѣевича въ эту пору его дѣятельности, — сообщаетъ одинъ изъ наиболѣе обстоятельныхъ некрологистовъ Аксакова, — знаютъ, какъ томила и мучилась молодая еще тогда душа его въ эту суровую эпоху и какъ поборолъ онъ въ себѣ чувство личнаго отвращенія, чтобы нести эту тяжелую службу, зная, что несеніемъ этого креста ему удастся все-таки уменьшить хотя немного количество обильно расточаемыхъ плетей, пролагать хотя ничтожный просторъ правдѣ и справедливости. Известная литературному міру Авдотья Петровна Елагина послала ему въ этотъ періодъ его отчужденія отъ Москвы мраморное распятіе, на которомъ ликъ облеченнаго терновымъ вѣнцомъ Спасителя представлялся ей особенно хорошо выражающимъ глубокое нравственное страданіе. Въ письмѣ, которымъ сопровождалась эта посылка, старая уже и тогда Авдотья Петровна писала, что,

взирая на этотъ ликъ представителя высшаго страданія, она всегда вспоминала о тѣхъ внутреннихъ мукахъ, о той нравственной пыткѣ, которую приходится переживать И. С. на добровольномъ поприщѣ его служенія».

Если Авдотья Петровна ихватила значительно черезъ край, то все же это нисколько не мѣшало судейскимъ впечатлѣнїямъ Ивана Сергѣевича быть очень и очень тяжелыми. «Да возродится *наконецъ* правда и милость въ судахъ», — сказалъ въ началѣ 90-хъ годовъ императоръ Александръ III, и какъ далеко отъ этого «наконецъ» было полвѣка тому назадъ. Ивану Сергѣевичу надо было или прать противъ рожна цѣлой клики уголовныхъ мародеровъ, или уйти совсѣмъ изъ палаты. Онъ выбралъ послѣднее и все въ тѣхъ же поискахъ живой работы поступилъ чиновникомъ особыхъ порученій въ министерство внутреннихъ дѣлъ. Съ обычной своей энергїей исполнялъ онъ самыя тяжелыя порученія и, одинъ изъ немногихъ чиновниковъ того времени, умѣлъ даже быть гуманнымъ въ своихъ отношеніяхъ къ раскольникамъ. Между прочимъ ему пришлось столкнуться съ таинственной сектой «бѣгуновъ», о которой онъ написалъ обширное изслѣдованіе.

Въ 1852 г. Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ вышелъ въ отставку. Эпизодъ, сопровождавшій его удаленіе со службы, былъ бы, пожалуй, и смѣшонъ, еслибы не былъ такъ грустенъ. По словамъ С. А. Венгерова, онъ заключался въ слѣдующемъ: «За Аксаковымъ открылись разные изъяны. Такъ, ярославскій губернаторъ сообщилъ въ Петербургъ, что молодой чиновникъ читаетъ знакомымъ какую-то подозрительную рукопись. Потребовали объясненій у Ивана Сергѣевича. Онъ переслалъ рукопись, которая оказалась извѣстной его поэмой «Бродяга». Поэму прочли и не нашли въ ней ничего предосудительнаго. Но тѣмъ не менѣе молодому поэту были поставлены на видъ два обстоятельства. Во первыхъ, ему письменно предложили вопросъ: «почему онъ, Аксаковъ, *безпаспортнаго* человѣка выбралъ себѣ въ герои?», а затѣмъ, возвращая поэму, сдѣлали при этомъ конфиденціальное сообщеніе, что «занятіе стихотворствомъ не приличествуетъ чловеку, облеченному довѣріемъ правительства».

Аксаковъ въ отвѣтъ на это подалъ прошеніе объ отставкѣ, которую и получилъ съ чиномъ надворнаго совѣтника. Онъ рѣшился посвятить себя журналистикѣ и, вернувшись въ Москву, занялся редактированіемъ «Московского Сборника». 1-ый томъ этого изданія благополучно прошелъ цензурныя мытарства и по-

явился въ свѣтъ безъ всяческихъ ампутацій. Но какъ-бы въ догонку ему — этому благополучно проскользнувшему сборнику, министр народнаго просвѣщенія, князь Ширинскій-Шахматовъ, обратилъ вниманіе на «предосудительность направленія», находя, что «хотя народность и составляетъ одну изъ главныхъ основъ нашего государственнаго быта, но развитіе понятія о ней не должно быть одностороннее и безусловное: иначе безъотчетное стремленіе къ народности можетъ перейти въ крайность и вмѣсто пользы принести существенный вредъ». Въ виду этого было приказано ко II тому сборника отнестись возможно «внимательно». Разумѣется, онъ не появился совсѣмъ, а его молодой редакторъ оказался въ разрядѣ крайне подозрительныхъ. Ему не только было предписано, какъ и остальнымъ членамъ славянофильскаго кружка, представлять свои произведенія для цензуры непосредственно въ Главное Управление по дѣламъ печати, но кромѣ того его лишили права быть когда бы то ни было издателемъ или редакторомъ журнала. Мало того, когда Аксаковъ хотѣлъ было поѣхать на военномъ кораблѣ вокругъ свѣта, — его не пустили.

Будучи не у дѣлъ, Аксаковъ съ удовольствіемъ взялся за порученіе Географическаго Общества описать малороссійскія ярмарки и, проработавъ полтора года, выпустилъ въ свѣтъ обширное изслѣдованіе о малороссійской торговлѣ вообще. Въ промежутокъ между собираніемъ матеріаловъ и обработкой ихъ Аксаковъ въ тяжелые дни севастопольской кампаніи поступилъ въ ополченіе и былъ казначеемъ серпуховскаго отряда. Тутъ онъ «удивилъ весь официальный міръ мужествомъ своей честности. Командующій московскимъ ополченіемъ — графъ Строгоновъ — даже не рѣшился подписать отчетъ, представленный изумительнымъ казначеемъ, ибо отчетъ этотъ былъ, въ силу великой экономіи, обвинительнымъ актомъ чуть ли не всѣхъ другихъ поголовно. Отчетъ такъ и остался не подписаннымъ, не смотря на всѣ настоянія Аксакова». «Ополченская служба Ивана Сергѣевича, — говоритъ Гиляровъ-Платоновъ, — сопровождалась полемикой литератора-ополченца съ командовавшимъ всею Московскою дружиною графомъ Строгоновымъ. Оригинальная полемика, философская и политическая, ведшаяся подъ видомъ официальныхъ приказовъ и официальныхъ рапортовъ, гдѣ Аксаковъ-ополченецъ былъ тотъ же непреклонный боецъ за меньшую братію, какъ Аксаковъ, редакторъ «Дня» и «Москвы». «Это Аксаковское влі-

яніе!»—воскликнулъ Строгоновъ, когда при роспускѣ ополченія, собравъ дружину, обратился къ рядамъ съ предложеніемъ, не хочетъ ли кто изъ ратниковъ перейти въ военную службу, и когда въ отвѣтъ на его слова: «кто хочетъ, ребята, пусть подниметъ руку»,—послышался каламбуръ: «Кто же, Ваше Сіятельство, на себя руку подниметъ?»...

Послѣ войны Аксаковъ, въ виду новыхъ вѣяній, возвратился къ извѣстному своему призванію — журналистикѣ. На самомъ дѣлѣ это былъ настоящій публицистъ, пламенный, искренній, безконечно увѣренный въ себѣ и своихъ убѣжденіяхъ. Съ молокомъ матери, съ атмосферой родительскаго дома, съ дружбой брата воспринималъ онъ славянофильскіе догматы. Вмѣстѣ съ Константиномъ Сергѣевичемъ онъ вѣрилъ и исповѣдывалъ: «что русскій народъ есть народъ не государственный, т. е. не стремящійся къ государственной власти, не желающій для себя государственныхъ правъ, не имѣющій въ себѣ даже зародыша народнаго властолюбія»,—и хотѣлъ лишь того, чтобы между властью и земщиной установились живыя нравственныя отношенія, уничтоженныя реформой Петра. Въ истинномъ смыслѣ слова онъ былъ *plus royaliste que le roi*, въ мистическомъ ореолѣ представлялось ему самодержавіе, онъ падалъ передъ нимъ ницъ съ религіознымъ уваженіемъ. Непонятное исключеніе. Но все равно, какъ не дозволялось доводить до крайности идею народности, такъ и идея самодержавія въ формѣ, приданной ей Иваномъ Сергѣевичемъ, оказалась неподходящей къ требованіямъ высшей политики. Въ 1859 г. Аксакову разрѣшили издавать газету «Парусъ» и запретили очевидно по недоразумѣнію на 2-мъ № за статью *Погодина*. Желая изгладить неблагоприятное впечатлѣніе, Аксакову намекнули, что онъ можетъ издавать еженедѣльный журналъ «Пароходъ», но съ тѣмъ условіемъ, чтобы идея самобытности развитія народностей, какъ славянскихъ, такъ и иноплеменныхъ, не имѣла мѣста въ газетѣ и все, что до сего предмета относится, было бы изъ нея исключено». Аксаковъ не согласился и занялся неофициальнымъ редактированіемъ «Русской Бесѣды». Въ 1861 г. онъ выхлопоталъ право издавать еженедѣльную газету «День», съ тѣмъ, чтобы въ ней не было политическаго отдѣла. «День» выходилъ благополучно вплоть до 1865 г. Въ 1867 году Аксаковъ затѣялъ ежедневную «Москву»,—газету, которая за 22 мѣсяца своего существованія получила девять предостереженій и слѣдовательно три раза была приостановлена.

новлена—въ общей сложности втеченіи 13-ти мѣсяцевъ. За «Москвой» послѣдовала «Русь».

Какъ публицистъ, Ив. Аксаковъ составилъ себѣ крупное имя. Особеннымъ успѣхомъ пользовалась его газета «День», гдѣ проводились лучшія идеи стараго славянофильства. «Аксаковъ—издатель «Руси»—былъ попреимуществу глашатай русской само-бытности и связанной съ нею національной исключительности.



И. С. Аксаковъ.

глашатай ожесточенной вражды ко всему тому, что дорого прогрессивной части русской интеллигенціи. Аксаковъ же—издатель «Дня», поддавшись общему теченію эпохи, рѣже направлялъ свой талантъ на бесплодную и часто отрицательнаго значенія позировку съ оторванными отъ нивы прегрессистами, а предпочиталъ посвящать его положительнымъ задачамъ времени, восторженному комментированію реформъ, быстро слѣдовавшихъ одна за другою. Наиболѣе горячія симпатіи «Дня» принадлежали крестьянскому дѣлу. Ни одинъ изъ органовъ тогдашней печати не посвящалъ столько мѣста выясненію разныхъ деталей, которыя возникли при

практическомъ выполненіи крестьянской реформы. «День» славился своими обстоятельными корреспонденціями по крестьянскому дѣлу, въ которыхъ всегда отстаивались интересы мужика.

Почему-же Аксаковъ, въ принципѣ отрицавшій какія бы то ни было политическія преобразованія, — Аксаковъ, постепенно все болѣе и болѣе сближавшійся съ партіей застоя, не ладилъ и не могъ ладить съ цензурой? Виновата въ этомъ, думается, не столько сущность его идей, сколько форма, которую онъ придавалъ имъ, — форма, всегда рѣзкая, непримиримая, вызывающая? Онъ слишкомъ подчеркивалъ свое право, какъ земскаго вѣрноподданнаго человѣка, говорить все, что ему кажется справедливымъ. Голосъ общественнаго мнѣнія — хотя бы одной только части его — находилъ себѣ въ немъ слишкомъ смѣлаго трибуна. Лучшимъ образчикомъ указанныхъ сторонъ его дѣятельности можетъ служить знаменитая рѣчь, произнесенная имъ въ 1878 г., какъ предсѣдателя Славянскаго благотворительнаго комитета и человѣка, наиболѣе волновавшагося по поводу войны за освобожденіе, — при первыхъ же слухахъ о результатахъ берлинскаго конгресса.

Это случилось, повторяю, въ 1878 году.

Въ это время, какъ извѣстно, происходилъ печальной памяти берлинскій конгрессъ. Мирный трактатъ еще не былъ ратификованъ, но уже содержаніе его было установлено почти окончательно и, какъ выражался Иванъ Сергѣевичъ, «корреспонденціи и телеграммы ежедневно, ежечасно, на всѣхъ языкахъ, во всѣ концы свѣта разносили изъ Берлина позорныя вѣсти о нашихъ уступкахъ». Не могъ перенести Иванъ Сергѣевичъ этого «надругательства» надъ Россією; въ засѣданіи московскаго Славянскаго комитета отъ 22 іюня 1878 г., разразился самой пылкой изъ всѣхъ своихъ рѣчей, въ которой далъ полную волю своему патріотическому негодованію. «Мы собрались сегодня, — говорилъ онъ, — хоронить милліоны людей, цѣлыя страны, свободу болгаръ, независимость сербовъ, хоронить великое, святое дѣло, завѣты и преданія предковъ, наши собственные обѣты, хоронить русскую славу, русскую честь, русскую совѣсть». Развѣ «плѣненные турецкія арміи подъ Плевной, Шипкой и на Кавказѣ, зимній переходъ русскихъ войскъ чрезъ Балканы и геройскіе подвиги нашихъ солдатъ, потрясшіе міръ изумленіемъ, торжественное шествіе ихъ вплоть до Царьграда, эти необычайныя побѣды, купленные десятками тысячъ русскихъ жизней, эти несмѣтныя жертвы, принесенныя русскимъ народомъ, эти по-

рывы, это священнодѣйствіе народнаго духа, — развѣ все это сказки, мифъ, порожденіе распаленной фантазіи, можетъ быть даже «измышленіе московскихъ фанатиковъ»? «Ты-ли это, Русь-побѣдительница, сама добровольно разжаловавшая себя въ побѣжденную? Ты-ли на скамѣхъ подсудимыхъ, какъ преступница, каешься въ святыхъ, подъятыхъ тобою трудахъ, манишь простить твои побѣды?.. Едва сдерживая веселый смѣхъ, съ презрительной ироніей похваляя твою политическую мудрость, западныя державы, съ Германіей впереди, нагло срываютъ съ тебя побѣднѣй вѣнецъ, преподносятъ тебѣ взаимнѣ шутовскую съ гремушками шапку, а ты послушно, чуть ли не съ выраженіемъ чувствительнѣйшей признательности, подклонаешь подъ нее свою многотрадальную голову!..» Но не хочетъ всему этому повѣрить ораторъ. «Ложь!» восклицаетъ онъ. «Если въ такомъ чудовищномъ образѣ и представляется Россія изъ берлинскихъ писемъ и телеграммъ, то самая чудовищность служить лучшей порукой, что этому не бывать».

«Что-бы ни происходило тамъ на конгрессѣ, какъ бы ни распиналась русская честь, но живъ и властенъ ея вѣнчаный оберегатель, онъ же и мститель! Если въ насъ при одномъ чтеніи газетъ кровь закипаетъ въ жилахъ, что же долженъ испытывать Царь Россіи, несущій за нее отвѣтственность предъ исторіей? Не онъ ли самъ называлъ дѣло нашей войны «святымъ»? Не онъ ли, по возвращеніи изъ-за Дуная объявилъ торжественно привѣтствовавшимъ его депутатамъ, Москвы и другихъ русскихъ городовъ, что «святое дѣло будетъ доведено до конца? Страшные ужасы брани, и сердце Государя не можетъ легкомысленно призывать возобновленія смертей и кровопролитія для своихъ самоотверженныхъ подданныхъ, — но не уступками, въ ущербъ чести и совѣсти, могутъ быть предотвращены эти бѣдствія. Россія не желаетъ войны, но еще менѣе желаетъ позорнаго мира. Спросите любого русскаго изъ народа, не предпочтетъ ли онъ биться до истощенія крови и силъ.

«Долгъ вѣрноподданныхъ велитъ всѣмъ надѣяться и вѣрить, — долгъ-же вѣрноподданныхъ велитъ намъ не безмолвствовать въ эти дни беззаконія и неправды, воздвигающихъ средостѣніе между царемъ и землей, между царской мыслью и землей, между царской мыслью и народной думой.»

Эта рѣчь — прекрасный образчикъ краснорѣчія Аксакова. Вы какъ-бы видите передъ собой страстнаго и даже дерзкаго въ своей страст-

ности человека и слышите его взволнованный, убежденный голосъ. Онъ весь въ этой рѣчи съ своей безконечной вѣрой въ русскій народъ, его непреодолимое могущество, чуткій ко всѣмъ обидамъ національнаго достоинства, весь съ своими мечтами о всеславянскомъ царствѣ, которое должно явить человечеству образецъ жизни, основанной на довѣрїи и любви другъ къ другу племенъ и народовъ. Освободительная война 77—78 гг. была праздникомъ его жизни. Казалось, что достигнуто уже все, къ чему такъ долго и напрасно стремились предыдущія поколѣнія. Смытъ позоръ Севастопольской войны, золотой крестъ засіялъ на куполѣ Св. Софіи, полумѣсяцъ изгнанъ въ Азію и древняя Византія возстала изъ гроба, чтобы явиться міру въ еще невѣдомомъ величіи... И вдругъ берлинскій конгрессъ!.. Всю силу своего «патріотическаго негодованія», всю мощь своей рѣчи И. Аксаковъ направилъ противъ дипломатіи, которая являлась въ его глазахъ однимъ изъ видовъ бюрократическаго средостѣнія. Разумѣется, это не могло пройти ему даромъ и, не смотря на весь поистинѣ грандіозный авторитетъ, которымъ пользовался Аксаковъ,—онъ былъ вызванъ изъ Москвы для успокоенія себя на деревенскомъ воздухѣ, хотя и не надолго...

Въ 1880 году онъ принялся за послѣднее свое дѣло — изданіе «Руси». Оптимистическая гарь славянофильства особенно рѣзко выступала въ этомъ органѣ Аксакова. Охлаждѣлъ реформаторскій пылъ юности, поддержка устоевъ стала главнѣйшей задачей. Друзья Аксакова объясняютъ неуспѣхъ «Руси» слѣдующимъ образомъ:

«Со второго-же года изданія «Руси» оказалось, что людей, смотрящихъ строго и трезво на русскую дѣйствительность вмѣстѣ съ Аксаковымъ, слишкомъ немного. Общество, не привыкшее къ простой и серьезной русской мысли и ждавшее отъ «Руси» эффектной борьбы съ существующимъ порядкомъ вещей, той страстной и смѣлой борьбы, которая велась въ «Москвѣ» и «Москвичѣ», разочаровалось. Аксаковъ, при всемъ невысокомъ мнѣніи о ставшемъ у дѣлъ консерватизмѣ, не объявилъ ему открытой войны»... «Правильно это было или нѣтъ, пока не будемъ судить, но несомнѣнно, что это обстоятельство было одной изъ причинъ, обусловливавшихъ неуспѣхъ «Руси» даже у людей, способныхъ выслушать и прочувствовать сердцемъ русское слово».

«Русь» Аксакова оставила по себѣ не особенно лестную память, хотя и не во всѣхъ кружкахъ общества. Но все-же не-

видно, чтобы газета гдѣ-нибудь пользовалась особеннымъ вліяніемъ и уваженіемъ. На этотъ разъ несомнѣнно, что знаменитаго публициста совершенно покинулъ его тактъ, самая чуткость оставила, и онъ совсѣмъ не «во благовременіе» сталъ выдвигать на сцену съ особенной энергіей и даже не безъ озлобленности правую сторону славянофильства съ ея оптимистическою гарью. Какъ ни измѣнилась эпоха, сущность этой правой стороны все-же сводилась къ тому, что у насъ все благополучно. И въ доказательство этого всеобщаго царящаго на Руси благополучія Аксаковъ раздражительно нападалъ даже на тѣхъ, кто указывалъ на ставшую очевидной недостаточность крестьянскихъ надѣловъ. «Это — ложь и клевета», — говорилъ онъ, полагая, что какая-нибудь фраза можетъ прикрыть цифры. Не того ждали отъ Аксакова, особенно послѣ славнаго періода 77-го и 78-го годовъ, когда даже его увлеченія, его крайность и гиперболы чувства такъ гармонически сливались съ общимъ горячимъ настроеніемъ. Въ немъ привыкли видѣть либерала, прогрессиста, хотя и на почвѣ самаго строгаго и даже правотѣрнаго націонализма. Никто еще не забылъ, да и некогда было забыть, какъ онъ своимъ пламеннымъ перомъ приветствовалъ реформы Александра II-го, какъ, смѣшивая свои личныя воспоминанія о черной неправдѣ, царящей въ судахъ, съ вожделѣніями каждаго мыслящаго и честнаго человѣка, и онъ видѣлъ въ новыхъ судахъ зарю новой, свѣтлой жизни. И вдругъ онъ, какъ бы поддаваясь старческой слабости, кашляетъ, брюзжитъ и ворчитъ, нападая на слабѣйшихъ, ломаясь въ открытую дверь. Въ той области, гдѣ онъ теперь сталъ дѣйствовать, онъ могъ играть лишь второстепенную роль. Ему не сравняться было съ Катковымъ, и даже искренніе его почитатели съ неудовольствіемъ замѣчали порой, что многія и многія статьи «Руси» являются лишь бесполезнымъ придаткомъ къ статьямъ «Московскихъ Вѣдомостей». Дойти до полной прямолинейности Аксаковъ не могъ, не смѣлъ, и вся его страсть, весь его талантъ тратился на вѣтеръ, попустому. Онъ переставалъ быть истиннымъ журналистомъ и только пребывалъ въ журнализмѣ... Съ ужасомъ и огорченіемъ сталъ онъ замѣчать, что надъ Русью начинаютъ просто подсмѣиваться (съ «Московскими Вѣдомостями» всегда считались); что статьи о русскомъ народѣ, его величіи, благополучіи не производятъ должнаго впечатлѣнія, ибо требовалось, чтобы подъ эти отвлеченные термины подставлялись реальныя понятія, цифры, а у Аксакова — увы! — ихъ не было въ распоряженіи. Только

конецъ жизни Аксаковъ, какъ бы прощаясь съ нею и вызванный къ тому исключительными обстоятельствами, собралъ свои послѣднія силы и явился передъ публикой въ прежнемъ грозномъ величїи...

Обстоятельства эти состояли въ слѣдующемъ.

«Въ одной изъ статей по болгарскому вопросу, появившейся въ концѣ 1885 года, Иванъ Сергѣевичъ, со свойственной ему рѣзкостью, напалъ на нашу дипломатію. Онъ утверждалъ, что у заправилъ нашей иностранной политики нѣтъ ни ума, ни сердца, ни совѣсти, ни чести. Подобныя нападки неоднократно уже появлялись на страницахъ «Руси», все равно какъ мысли, высказанныя Аксаковымъ въ рѣчи о берлинскомъ конгрессѣ, тоже не были новостью для постоянныхъ его слушателей и читателей. Но, какъ и во время произнесенія этой рѣчи, политическій моментъ появленія вышеупомянутой статьи былъ затруднительный и «Руси» было дано предостереженіе, мотивированное тѣмъ, что газета *«обсуждаетъ текущія событія тономъ, несовмѣстнымъ съ истиннымъ патріотизмомъ»*.

Исполняя точную букву закона, «Русь» напечатала предостереженіе безъ всякихъ оговорокъ, но въ слѣдующемъ-же № (22) Иванъ Сергѣевичъ помѣстилъ совершенно неслышанную по своей рѣзкости отвѣдь на тему о томъ, что должно считаться «истиннымъ» патріотизмомъ, — отвѣдь на этотъ разъ уже не по адресу дипломатовъ, а по адресу министерства внутреннихъ дѣлъ.

Статья, о которой только-что шла рѣчь, появилась въ декабрѣ 1885 г., а 27-го января 1886 г. Ивана Сергѣевича не стало. Его сразила болѣзнь сердца.

ВІІ. З а к л ю ч е н і е.

Читатель видитъ, на какой мысли построены предыдущій очеркъ. Постоянно и ежеминутно приходилось мнѣ повторять знаменитыя слова Антонія въ его надгробной рѣчи Бруту: «Но Брутъ былъ доблестнымъ человѣкомъ». Доблестными, честными, даже чистыми въ лучшемъ смыслѣ этого слова были и первые славянофилы. Не знаю, какъ не подписаться подъ строками, принадлежащими человѣку другого лагеря, всю жизнь боровшагося съ славянофильствомъ и нанесшему ему самыя жестокіе діалектическіе удары, — строками слѣдующаго содержанія:

«Кирѣвскіе, Хомяковъ и Аксаковъ сдѣлали свое дѣло; долго-ли, коротко-ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себѣ съ полнымъ сознаніемъ, что они сдѣлали то, что хотѣли сдѣлать, и если они не могли остановить фельдъ-егерской тройки, посланной Петромъ и въ которой сидѣлъ Биронъ и колотилъ ящика, чтобы тотъ скакалъ по нивамъ и давилъ людей, то они остановили увлеченное общественное мнѣніе и заставили призадуматься всѣхъ серьезныхъ людей. «Съ нихъ начинается переломъ русской мысли. И когда мы (западники) это говоримъ, кажется, насъ нельзя заподозрить въ пристрастіи. «Да, мы были противниками ихъ, но очень странными. У насъ была одна любовь, но не одинаковая. «У нихъ и у насъ запало съ раннихъ лѣтъ одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминаніе, а мы — за пророчество, — чувство безграничной, охватывающей все существованіе любви къ русскому народу, русскому быту, русскому складу ума. И мы, какъ Янусъ или какъ двуглавый орелъ, смотрѣли въ разныя стороны въ то время, какъ *сердце билось одно*. «Они всю любовь, всю нѣжность перенесли на угнетенную мать. У насъ, воспитанныхъ внѣ дома, эта связь ослабла. Мы были на рукахъ французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству въ чертахъ, да потому, что ея пѣснь была для насъ родицею водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ея была слишкомъ тѣсна. Въ ея комнатѣ было намъ душно; все почернѣлыя лица изъ-за серебрянныхъ окладовъ... даже ея вѣчный плачъ объ утраченномъ счастьѣ раздиралъ наше сердце; мы знали, что у нея нѣтъ свѣтлыхъ воспоминаній, мы знали и другое, что ея сердце впереди, что подъ ея сердцемъ бьется зародышъ, — это нашъ меньшой братъ, которому мы безъ чечевицы уступимъ старшинство».

Къ этимъ теплымъ, прочувствованнымъ словамъ приходится прибавить очень мало. Еслибы нравственная чистота была всѣмъ и единственнымъ, что мы можемъ требовать отъ общественнаго дѣятеля, — такіе «подвижники», какъ Кирѣвскіе или Константинъ Аксаковъ, были бы людьми, достойными намятника въ сердцѣ каждаго русскаго человѣка. Еслибы искренность и правдивость освобождали писателя отъ промаховъ логики, отъ невѣрнаго толкованія дѣйствительныхъ потребностей жизни, статьи Кирѣвскаго, Аксакова, Хомякова могли бы явиться каноническими — для насъ по крайней мѣрѣ. Къ сожалѣнію между желаніями человѣка, на-

строеніемъ его сердца и ходомъ жизни—цѣлая пропасть. Неподатливый, суровый, почти не считающійся съ нашими вождѣлѣніями ходъ жизни одинаково ломаетъ нравственное или безнравственное, разъ оно не истинное, разъ оно хочетъ повернуть его въ ту сторону, по которой онъ не можетъ идти.

Положительная сторона стараго славянофильства вся безъ остатка исчерпывается его протестомъ противъ крѣпостного строя современной ему Россіи, противъ закабаленія личности, какіе-бы виды оно ни принимало. Во имя чего возникъ этотъ протестъ? Отчасти уже знакомые читателю историческіе взгляды К. Аксакова являются лучшимъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ.

Въ своемъ критическомъ разборѣ «Исторіи Россіи» Соловьева К. Аксаковъ указалъ, какъ недостаточно сводить исторію Россіи къ исторіи правительства въ Россіи, внѣшнимъ образомъ и насильственно преобразующаго косный народъ. Начало государственное—это лишь формальная сторона въ исторіи, ограничивающая, сдерживающая, охраняющая. Военскій станъ и канцелярскій приказъ, князь—собираатель дани, великій князь московскій, дающій перевѣсъ интересамъ государственнымъ надъ родовыми отношеніями, наконецъ императоръ, какъ просвѣтитель, преобразователь, — вотъ постоянная тема всѣхъ предыдущихъ историковъ, разрабатывая которую они едва имѣли досугъ бросить какой-то боковой взглядъ на стоящій въ глубинѣ сцены безмолвный, бездѣятельный, безвольный народъ; и невольно у читателя является вопросъ, зачѣмъ, для какой нужды, для выраженія какой мысли стоитъ этотъ народъ?

Начало *общинное* столь же постоянно и также повсюду проникаетъ русскую исторію, какъ родовое — западно-европейскую. Такова основная мысль К. Аксакова, высказанная имъ въ статьѣ «О древнемъ бытѣ славянъ вообще и у русскихъ въ особенности». Это общинное начало выразилось въ *вѣчевомъ* строѣ древней Руси; актомъ собравшагося въ Новгородѣ вѣча было самое призваніе князей, начало государственности: народъ не безмолвствуетъ, не стоитъ, не занимаетъ только мѣста на громадной территоріи восточной Европы, но дѣйствуетъ, мыслить, творить, какъ живая нравственная сила. И по призваніи князей вѣче сохраняется во всѣхъ городахъ, т. е. община продолжаетъ жить подъ всѣми тѣми внѣшними передвиженіями, которыя одни повидимому наполняютъ исторію, производятъ въ ней шумъ оружія, перипетіи княжескихъ отношеній. Позднѣе, съ объединеніемъ княжествъ подъ Московою,

общинная жизнь городов сливается и находить для себя выражение въ земскихъ соборахъ: это земля, призываемая на совѣтъ свободно избраннымъ, поставленнымъ ею надъ собой государствомъ. Первый царь созываетъ первый земскій соборъ. Ему принадлежитъ землею неоспариваемое, но съ любовью утверждаемое право дѣятельности, закона, силы; землѣ принадлежитъ царемъ неоспариваемое, но бережно выслушиваемое право мнѣнія, сужденія по совѣсти, область духа. Высшее начало соборности, согласія, любви отражается въ этихъ отношеніяхъ.

Легко понять, какъ сущность этихъ мыслей не мирилась съ крѣпостническимъ строемъ Николаевской Руси, какъ она возставала противъ него во всеоружіи своего ореола, своего пониманія прошлаго, своей любви. Но только сущность. Форма, облакающая ее, далека отъ исторической истины, ибо возможно ли напр. умѣстить царствованіе Грознаго въ такія строки: «Государь поступаетъ, какъ ему Богъ указываетъ, земля не поперечить его дѣламъ, она присоединяетъ къ нимъ лишь свою думу, свободно выраженную, которой послѣдовать или не послѣдовать свободенъ царь»? Разумѣется, нельзя; однако свободолюбивое настроеніе Аксакова, заставившее его вскрыть старо-русскую исторію до вѣча, нисколько не теряетъ своей цѣнности.

Почему же славянофильство не оправдало надеждъ своихъ сторонниковъ, почему оно начало разлагаться почти на ихъ глазахъ? На эти вопросы можетъ быть только одинъ отвѣтъ: славянофильская доктрина была не болѣе, какъ утопіей. Какъ утопія, она подверглась обвиненію со стороны жизни и выслушала свой обвинительный приговоръ. На восхваленіе прошлаго историческая наука отвѣчала: «это невѣрно»; на призывъ назадъ, домой, ходъ жизни сказалъ: «это невозможно». Сами дѣятели славянофильства были поставлены въ такія условія, что, не будь у нихъ иллюзій, они должны бы давнымъ-давно признать себя побѣжденными. Они были благороднѣйшими представителями стараго родовитаго дворянства; выйдя изъ его среды, они всѣмъ сердцемъ прониклись его идеаломъ — патріархальнымъ строемъ жизни, они распространили этотъ идеалъ на всю совокупность общественныхъ отношеній; страстные, фанатически убѣжденные, почерпавшіе свой аргументъ изъ воспоминаній дѣтства, изъ преданій цѣлаго поколѣнія семей, — они не хотѣли знать, что идеалъ, строй жизни — историческая категорія, что патріархальность отношеній не мыслима во второй половинѣ XIX-го вѣка.

Любопытный примѣръ въ этомъ отношеніи представляетъ изъ себя жизнь Ивана Серг. Аксакова. Онъ—послѣдній изъ могиканъ стараго славянофильства,—человѣкъ съ громадными дарованіями, — сильный публицистъ, словомъ, — богато одаренная натура въ любомъ смыслѣ этого слова—истратилъ свою жизнь на созданіе такихъ плановъ и поддержку такихъ цѣлей, которыя не могутъ теперь привлечь никого. Вѣра въ славянство, надежда, возлагаемая на него, — не оправдались. Даже насчетъ войны 1877—78 гг. многіе когда-то самые горячіе ея сторонники и защитники принуждены спрашивать себя: «да изъ-за чего же мы воевали? да стоило ли отвлекаться отъ своихъ внутреннихъ дѣлъ, отъ всѣхъ насущныхъ заботъ, чтобы преслѣдовать романтическія задачи?» А вѣдь изъ-за этихъ романтическихъ задачъ Ив. Аксаковъ гремѣлъ на всю Россію, шумѣлъ и волновался, какъ только можетъ шумѣть и волноваться искренно убѣжденный человѣкъ. Берлинскій конгрессъ — вотъ жестоко-ироническій отвѣтъ жизни на панславистскія идеи Аксакова, но онъ не понялъ и не хотѣлъ понять этого.

Личная его жизнь одинаково претерпѣла то же самое жестоко-ироническое отношеніе внимательства судьбы. Мы знаемъ, что защита общинныхъ укладовъ, артели, міра — была краеугольнымъ камнемъ его блестящей, общественной пропаганды. Община, артель, міръ — это три устоя, на которыхъ онъ строилъ будущее счастье русскаго народа. Онъ былъ ихъ истиннымъ палладиномъ и, закрывая глаза на факты (что, вообще говоря, должны были дѣлать всѣ славянофилы), не хотѣлъ знать и видѣть, что уже и въ его время община, міръ, артель пачинали трещать и разлагаться. Но—спросимъ себя—что же содѣйствовало этому процессу разложенія и даже обуславливало его? Очевидно сила денегъ, сила капитала и капиталистическій духъ наживы, индивидуализма, имущественнаго неравенства, который съ каждымъ днемъ все болѣе широкой волной вторгался подъ сѣнь «вѣковыхъ устоевъ» и подмывалъ ихъ. Между тѣмъ личная жизнь Ив. Аксакова устроилась такимъ образомъ, что самъ онъ, какъ директоръ богатаго московскаго банка, былъ однимъ изъ первыхъ и самыхъ видныхъ пионеровъ капитализма въ Россіи!! Увеличивая операціи своего банка, разсѣвая по лицу родной земли денежную силу, строя дороги, развивая кредитъ, создавая могущественный финансово-промышленный планъ, онъ, этотъ утопистъ, невольнo и незамѣтно для самого себя разрушилъ или содѣйствовалъ разрушенію той почвы

при безусловной устойчивости которой его идеалы только и могли имѣть какую-нибудь жизненную цѣнность!..

Такъ мститъ жизнь.

Ив. Аксаковъ былъ несомнѣнно такимъ же честнымъ и доблестнымъ рыцаремъ своей идеи, какъ и его братъ, какъ и тѣ люди, подъ восторженныя рѣчи которыхъ прошло его дѣтство и юность. Тѣмъ характернѣе и поучительнѣе то обстоятельство, что онъ очутился во главѣ капиталистическаго предпріятія и былъ выпущенъ правой рукой разрушить то, что создавалъ лѣвой..

Въ еще болѣе поучительномъ видѣ предстанетъ передъ нами паденіе славянофильства, если мы прослѣдимъ хотя бы вкратцѣ процессъ его вырожденія. Въ своей первоначальной, очевидно слишкомъ уже непрактичной, формѣ оно не могло долго оставаться; во что же оно превратилось?

«Исторія славянофильства, — говоритъ Влад. Соловьевъ, — есть лишь постепенное обличеніе той внутренней двойственности непримиренныхъ и непримиримыхъ мотивовъ, которая съ самаго начала легла въ основу этого искусственнаго движенія. Кто-то изъ русскихъ писателей довольно хорошо выразилъ эту роковую для славянофиловъ двойственность, назвавъ ихъ археологическими либералами. Прежде всего славянофилы хотѣли бороться противъ петровской реформы, противъ западно-европейскихъ началъ во имя древней, московской Руси. Но рядомъ съ этимъ реакціонно-археологическимъ мотивомъ столь же существенный интересъ имѣла для нихъ прогрессивно-либеральная борьба противъ дѣйствительныхъ золъ современной имъ Россіи, — той Россіи, которая, по словамъ Хомякова, была

Въ судахъ черна неправдой черной
И игомъ рабства клеймлена —

въ которой, по словамъ И. Аксакова,

Сплошного зла стоитъ твердыня
Царить бессмысленная ложь.

Мы видѣли, какъ рѣзко и рельефно отразилось это непримиренное и непримиримое противорѣчіе въ дѣятельности И. Аксакова, который положительно смущалъ своихъ читателей, являясь передъ ними то въ качествѣ гонимаго и даже выселяемаго изъ столицы, то — хориста Катковского хора. Но ему, какъ славянофилу ума и сердца, ничего другого не оставалось дѣлать.

«Въ доктринѣ славянофиловъ не было бы никакого противорѣ-

чія, еслибы все русское зло было у насъ произведеніемъ европейской образованности, еслибы оно не существовало въ Россіи до Петра, и еслибы противъ него можно было бороться во имя какихъ-нибудь особыхъ «русскихъ началъ». Но на самомъ дѣлѣ все было какъ-разъ наоборотъ. «Клеймо рабскаго ига» и «черная неправда судовъ» были прямымъ наслѣдіемъ старой московской Руси, остаткомъ до-петровскаго времени, и бороться противъ этихъ самобытно-русскихъ явленій славянофиламъ приходилось вмѣстѣ съ западниками во имя чужихъ, европейскихъ идей. Они не могли не знать, что современное имъ крѣпостное право было лишь смягченною (благодаря Петру Великому и его преемникамъ) формою стариннаго холопства, и что до-петровскіе суды и приказы еще менѣе отличались неподкупностью, нежели бюрократическія учрежденія Николаевскихъ временъ. При всемъ желаніи сваливать на Европу всѣ наши грѣхи, славянофилы никакъ не могли однако видѣть въ безправномъ холопствѣ и въ шемякинахъ судахъ плоды европейничанья; они должны были, напротивъ, волей-неволей признать, что постепенное смягченіе нашихъ туземныхъ язвъ происходило со временъ Петра Великаго подъ вліяніемъ европейскаго образованія, а въ такомъ случаѣ странно было бы искать окончательнаго исцѣленія въ анти-европейской реакціи, въ поворотѣ къ до-петровскимъ началамъ. Никакъ нельзя было отдѣлаться отъ того очевиднаго факта, что крѣпостники-помѣщики и взяточники-чиновники менѣе причастны были европейскому образованію, гораздо ближе по духу стояли къ старо-русской жизни, нежели ихъ противники и обличители, какъ западники, такъ и сами славянофилы, которые могли бороться противъ нашей общественной неправды *единственно только въ качествѣ европейцевъ*, ибо только въ общей сокровищницѣ европейскихъ идей могли они найти мотивы и оправданіе для этой борьбы».

Надо посмотрѣть теперь, какъ развивалось это противорѣчіе. Разумѣется, пока критики не трогали его, оно существовало совершенно мирно. Кирѣевскій, Хомяковъ, К. Аксаковъ какъ пельза лучше умѣщали его въ своей груди и даже не подозрѣвали, до чего оно грозное. Но вотъ что случилось.

Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ, разъяснившій въ 1853 г. несовмѣстимость бороды съ дворянскимъ мундиромъ, былъ если и не самымъ основательнымъ, то во всякомъ случаѣ самымъ успѣшнымъ изъ всѣхъ министерскихъ циркуляровъ. Онъ сразу и навсегда положилъ конецъ тому фазису славянофильства, въ ко-

торомъ вопросъ о «русскомъ направленіи» сливался съ вопросомъ о русскомъ платьѣ. Когда нѣсколько лѣтъ спустя всѣмъ русскимъ подданнымъ возвращено было право облекаться въ какую угодно, хотя бы азіатскую, одежду, славянофильство этимъ правомъ уже не воспользовалось, и слова Хомякова о необходимости «слиться» съ жизнью русской земли, не пренебрегая даже мелочами обычая и, такъ сказать, «обряднымъ единствомъ, какъ средствомъ достиженія единства истиннаго и еще болѣе какъ видимымъ его образомъ», — остались безъ всякаго послѣдствія.

Итакъ, славянофильство вдругъ оказалось гонимымъ, и притомъ съ двухъ сторонъ: правительствомъ за либерализмъ (мурломка, борода и пр.), либералами — за «археологію». Доктрина, какъ совѣщавшая въ себѣ непримиримыя противорѣчія, никому не показала по вкусу. Съ одной стороны говорилось: «разъ вы ненавидите современный строй, то вы — преступники, хотя бы и терпимые еще», съ другой: «разъ вы ненавидите современный строй, то будьте искренни. Ибо съ какой точки зрѣнія ненавидите вы его? Съ точки зрѣнія собственнаго достоинства? Личной свободы? Прекрасно: все это — западно-европейскія начала. Итакъ, искренне и откровенно примкните къ намъ».

Но сдѣлать это славянофилы не хотѣли и не могли. Самые преданные изъ нихъ, «иллюзіонеры», позволили развиваться противорѣчію до того, что, вродѣ Ив. Аксакова, проповѣдывали общину, артель и пр., служа директорами въ банкѣ; другіе, понявъ существованіе противорѣчія, рѣшились отдѣлаться отъ него, превративъ «славянофильство» въ «націонализмъ».

Что такое націонализмъ? Это именно одна, *правая* сторона славянофильства.

Славянофилы всегда исходили изъ мысли, что русскій народъ особенный, т. е. такой, которому указаны другіе пути, чѣмъ народамъ западно-европейскимъ. У тѣхъ — индивидуализмъ и борьба личности съ личностью за счастье; у насъ — община; у тѣхъ политическая свобода — намъ этого не надо и т. д. Но русскій народъ не только особенный, онъ — *лучшій* народъ изъ всѣхъ существующихъ. Онъ совокупляетъ въ себѣ всѣ блестящія качества, онъ переустроить жизнь по идеальному христіанскому образу. Эта часть славянофильской доктрины пришлась какъ нельзя болѣе къ дому, Кирѣевскій, Хомяковъ, Аксаковъ твердили, что прошлое наше безупречно, какъ чисто-русское, не загрязненное западно-европейскими началами, но современность полна грѣхами. Ихъ

преемникамъ, чтобы выбраться изъ рокового противорѣчія, оставалось объявить грѣхи добродѣтелью. Они такъ и сдѣлали.

«Законные наслѣдники славянофильства, — говоритъ Влад. Соловьевъ *) — уже не находятъ нужнымъ подставлять небывалыя совершенства подъ дѣйствительные недостатки: въ самыхъ этихъ недостаткахъ они видятъ настоящее преимущество Россіи передъ челоуѣчествомъ. Главный недостатокъ нашей духовной жизни — это неосмысленность нашей вѣры, пристрастіе къ традиціонной буквѣ и равнодушіе къ религіозной мысли, склонность принимать благочестіе за всю религію, а само благочестіе отождествлять съ обрядомъ. Этотъ несомнѣнный недостатокъ, и теперь бросающійся у насъ въ глаза, сообщилъ весьма печальный характеръ и единственному значительному религіозному движенію въ русской исторіи — расколу старообрядчества. И вотъ оказывается, что это ненормальное пристрастіе къ традиціонной обрядности въ ущербъ другимъ, умственнымъ и нравственнымъ элементамъ религіи, — что эта болѣзнь русскаго духа есть настоящее здоровье и великое преимущество нашего благочестія передъ религіозностью западныхъ народовъ. Тѣ, если вѣрятъ, то и мыслятъ о предметахъ своей вѣры и стараются познать ихъ какъ можно лучше; — мы вѣримъ безъ всякихъ разсужденій, предметовъ вѣры мы не считаемъ предметами мышленія и познанія, т. е., другими словами, мы вѣримъ сами не зная во что, — не очевидно ли наше преимущество? Иностранцы, разсуждая о религіи, предаются вмѣстѣ съ тѣмъ и религіозной дѣятельности, организуютъ благотворительныя учрежденія у себя дома, просвѣтительныя миссіи среди дикихъ народовъ и т. п.; мы вообще воздерживаемся отъ этого суетнаго подвижничества, предаваясь главнымъ образомъ подвигамъ молитвеннымъ, утѣшаясь обиліемъ земныхъ поклоновъ, продолжительностью и благолѣпіемъ церковныхъ службъ. Не ясно ли наше превосходство: мы служимъ только Богу, а служеніе страждущему челоуѣчеству предоставляемъ ложнымъ религіямъ гнилого Запада».

Такъ же легко совершается превращеніе недостатковъ въ достоинства и въ области гражданской жизни. Главная наша немощь здѣсь состоитъ въ слабомъ развитіи личности, а чрезъ это и въ слабомъ развитіи общественности; ибо эти два элемента соотносительны между собою. И вотъ культъ, доходящій до апо-

*) „Національный вопросъ“ т. II, стр. 93 94.

еоза Ивана Грознаго, возводитъ въ принципъ коренное бѣдство нашей жизни, указываетъ въ немъ наше главное превосходство надъ западной цивилизаціей, погибающей будто бы отъ доктринерскихъ идей законности и права. Эту ненависть къ юридическому элементу въ народной жизни наши новѣйшіе патріоты раздѣляютъ со старыми славянофилами, съ тою впрочемъ разницею, что закону и праву противопоставляется какъ высшее начало у однихъ — братская любовь, а у другихъ — кулакъ и палка. При всей неудовлетворительности этого послѣдняго принципа, въ немъ по крайней мѣрѣ нѣтъ никакой фальши, тогда какъ братская любовь, выставляемая какъ дѣйствительное историческое начало общественной жизни у какого-бы то ни было народа, есть просто ложь.

Такимъ образомъ роковое развитіе противорѣчій необходимо привело къ превращенію славянофильства въ націонализмъ, — т.-е. въ обоготвореніе существующаго, въ идеализацію самихъ себя. Ничего не можетъ быть опаснѣе этого для народной жизни. Самодовольство и самохвальство — первые враги всякаго развитія, всякаго движенія впередъ. Особность русскаго народа, его якобы оригинальность является постояннымъ тормазомъ необходимаго развитія дѣйствительныхъ началъ его жизни. Бросить славянофильскія фразы — давно пора. Надо же понять наконецъ, что нашъ путь развитія и путь Западной Европы — тотъ-же самый.

ВО ВСѢХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ПРОДАЕТСЯ НОВОЕ ИЗДАНИЕ
Ф. ПАВЛЕНКОВА:

СОЧИНЕНІЯ
Д. И. ПИСАРЕВА.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и статьей **Е. СОЛОВЬЕВА** (при шестомъ томѣ).

СОДЕРЖАНІЕ ТОМОВЪ:

1-й томъ. Первые литературные опыты. — Несоразмѣрныя претензіи. — Народныя книжки. — Идеализмъ Платона. — Физиологическіе эскизы Молашота. — Процессъ жизни. — Схоластика XIX вѣка. — Стоячая вода. — Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ. — Женскіе типы въ романахъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова. — Библиографическія замѣтки. — Меттернихъ.

2-й томъ. Аполлоній Тианскій. — Московскіе мыслители. — Русскій Донъ-Кихотъ. — Вольные русскіе переводчики. — Генрихъ Гейне. — Пчелы. — Физиологическія картины. — Базаровъ. — Очерки изъ исторіи печати во Франціи. — Зарожденіе культуры.

3-й томъ. Наша университетская наука. — Историческіе эскизы. — Цвѣты невиннаго юмора. — Мотивы русской драмы. — Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растений. — Историческое развитіе европейской мысли.

4-й томъ. Реалисты. — Кукольная трагедія. — Промахи незрѣлой мысли. — Романъ кисейной дѣвушки. — Сердитое безсиліе. — Прогулка по садамъ руссійской словесности. — Переломъ въ умственной жизни средневѣковой Европы. — Мысли Вирхова о воспитаніи женщинъ. — Педагогическіе софизмы. — Разрушеніе эстетики. — Школа и жизнь.

5-й томъ. Пушкинъ и Бѣлинскій. — Подвиги европейскихъ авторитетовъ. — Посмотримъ! — Подростающая гуманность. — Историческія идеи Огюста Конта. — Погибшіе и погибающіе. — Популяризаторы отрицательныхъ доктринъ. — Взгляды англійскихъ мыслителей на умственные потребности современнаго общества. — Льюисъ и Гексли.

6-й томъ. Очерки изъ исторіи европейскихъ народовъ. — Образованная толпа. — Борьба за жизнь. — Романы Андре Лео. — Старое барство. — Французскій крестьянинъ 1789 г.

Цѣна каждого тома 1 руб. Пересылка за 7 фун. по разстоянію.

Популярно-научные книги.

- Духовный прогресс. П. Н. Лоскутова. П. 1 р.
Очерк происхождения и развития семьи и собственности. М. Ковалевского. Перев. съ французск. М. Голишина. П. 60 к.
Воспитание воли. Ж. Пайо. Перев. съ француз. М. А. Шиммарев. П. 75 к.
История, какъ наука. Лакмоба. Переводъ редакціи Р. И. Сементковского. П. 1 р. 50 к.
Самъ новѣйшій чудесъ свѣта. Д. Кента. Перевелъ Д. А. Головъ. Со многими рис. П. 1 р.
Исторія земли. Составилъ по Бомали, Неймайру и друг. В. К. Агафоновъ. Со множествомъ рисунк. П. 1 р. 50 к.
Азбука домоводства и домашней гигиены. Сост. М. Кляма. Перевелъ Н. Корфъ. П. 75 к.
Наука о жизни. Популярная физиология человека. В. Дункевича. Съ 91 рисунком. П. 1 р.
Преступная толпа. Опытъ коллективной психологии. С. Сигалъ. 116 стр. П. 30 к.
Пессимизмъ. Д. Селли. Популярный обзоръ всѣхъ пессимистическихъ учений. Пер. съ англійскаго пожд редакціей В. Яковнико. П. 1 р. 50 к.
Философія Герберта Спенсера, въ сокращ. изложеніи Коллинса. Пер. П. Мокеевскаго. П. 2 р.
Законы подражанія. Тарда. П. 1 р. 50 к.
Домашній опредѣлитель поддѣлокъ. А. Алмадинскаго. П. 60 к.
На всякій случай! Научно-практическіе совѣты сельскимъ хозяевамъ. А. Алмадинскаго. Два тома. Цена каждого 50 к.
Гигиена мѣнщинъ. Д-ра М. Тило. 2-е изд. П. 40 к.
Гигиена семьи. Губера. Пер. съ нѣм. П. 50 к.
Берегите логики! Гигиеническія бесѣды д-ра Нимейера. Съ 80 рис. 2-е изд. П. 75 к.
Уходъ за больн. дѣтми. Д-ра Перевъ. П. 50 к.
Сохраненіе здоровья. Общая гигиена въ прим. къ обиходу жизни. Д-ра Эйдама. П. 40 к.
Дѣтскій докторъ. Популярное руководство для матерей воспитателей. Д-ра Варно. Перев. пожд редакціей проф. Пономарева. Съ рис. П. 1 р.
Банкротъ и ихъ роль въ жизни человека. Д-ра Мишула. Перев. съ нѣмецк. Съ 35 рис. П. 1 р.
Предсказаніе погоды. Г. Далла. Переводъ съ франц. Съ 40 рис. П. 1 р. 25 к.
Дарвинизмъ. Э. Фервера. Перев. съ франц. Популяр. излож. ученія Дарвина. 2 изд. П. 60 к.
Жизнь на Северѣ и Югѣ (отъ полюса до экватора). А. Брама. Дополненіе къ его сочи. "Жизнь животных". Со многими рис. П. 2 р.
Правобытные люди. Деббера. Перев. съ франц. и дополн. М. Энгельгардта. Съ 84 рис. П. 1 р.
Фабричная гигиена. Святловскаго. 153 рис. 4 р.
Усталость. Популярно-научныя бесѣды проф. А. Мессо. Съ 80 рис. П. 1 р. 25 к.
Рабочій вопросъ. А. Ланге. Перев. съ нѣмецкаго. 2-е изд. П. 1 р. 25 к.
Моторный часъ? И. Васильова. Популяр. руководство для поправки часовъ безъ помощи часовщика и для устройства солнечн. часовъ. 2-е изд. съ 13 рис. П. 30 к.
Физиологическая психологія. Цицена. Перев. пожд редакціей проф. В. Чижова. Съ 21 рис. П. 75 коп.
Звѣздный міръ. Популярно-астрономическія бесѣды. Предтеченскаго. Со мн. рис. П. 30 к.
Разсказы о небѣ. К. Фламмаріона. Перев. съ франц. Е. Предтеченскаго. Съ 64 рис. П. 50 к.
Уходъ за больными въ семьѣ. Д-ра Энцилера. П. 50 к.
Гигиена дѣтства. Д-ра Перевъ. П. 50 к.
Записки желудка. Съ англійскаго. П. 50 к.
Электричество въ природѣ. Ж. Дари. Переводъ съ францу. Д. Голова. Съ 102 рис. П. 1 р. 25 к.
Міръ грёзъ. Д-ра Симона, Сювидѣна, галлюцинаціи, сомнамбулизмъ, гипнотизмъ. Съ фр. П. 1 р.
Физиология души. А. Герцена. Переводъ съ франц. 2-е изд. П. 75 к.
Ручной трудъ. Графинимъ. Руководство къ домашнимъ занятіямъ ремеслами. Перев. съ франц. Съ 400 рис. 2-е изд. П. 1 р. 50 к.
Въ папѣ 1 р. 75 к. Въ переплетѣ 2 р.
Эйфелева башня. Г. Тисанде. Съ 84 рис. П. 50 к.
Экстазы человека. П. Мантегана. Переводъ съ 5-го итальян. изд. П. 1 р. 50 к.
Умственные эпидеміи. Д-ра Реняра. Переводъ Ж. Зауера. Съ 110 рис. 2-е изд. П. 1 р.
Свѣтъ Божій. Популярн. очерки міровѣдѣнія. 6-е изд., исправленное. Съ 65 рис. П. 30 к.
Общедоступная астрономія К. Фламмаріона. Съ 100 рис. 3-е изд. П. 80 к.
Телефонъ и его практическія примѣненія. Майеръ и Пирсса. Перев. Д. Голова. Съ 293 рис. П. 2 р. 50 к.
Электрическіе элементы. Нюде. Перевелъ и дополнилъ Д. Голова. Со мног. рисунками. П. 2 р.
Электрическіе аккумуляторы. Э. Ренъ. Перевелъ Д. Голова. Съ 76 рис. П. 1 р. 25 к.
Электрическое освѣщеніе. Составилъ В. Чиколеевъ. Съ 151 рис. П. 2 р. 50 к.
Домашнее электрическое освѣщеніе и уходъ за аккумулят. Сяломенса. Съ 81 рис. П. 1 р. 25 к.
О безопасности электрическаго освѣщенія. В. Чиколеева. П. 25 к.
Электричество и магнетизмъ. А. Гано и Ж. Маневрв. Переводъ Ф. Павленкова, В. Черкасова и С. Степанова. 340 рис. П. 1 р. 50 к.
Популярныя лекціи объ электричествѣ и магнетизмѣ. О. Хвольсона. Съ 230 рис. П. 2 р.
Главнѣйшія приложенія электричества. Э. Гоститалле. Съ рис. 2-е изд. П. 2 р. 50 к.
Электрическая передача энергіи (передача силы на расстояніи). Каппа. Съ 50 рис. П. 1 р. 60 к.
Электричество въ домашнемъ быту. Э. Гоститалле. Со множествомъ рис. 2-е изд. П. 2 р.
Электрическіе звонки. Боттона. Со свѣдѣніями о воздушныхъ звонкахъ. 114 рис. Пер. съ англ. Голова. 2-е изд. П. 1 р.
Соціальная жизнь животныхъ. Эстмаса. Перев. съ франц. Ф. Павленкова. П. 2 р. 50 к.
Единство физическаго силъ. Опытъ популярно-научной философіи. А. Секки. Перев. съ франц. Ф. Павленкова. 2-е изд. П. 2 р. 50 к.
Психологія вниманія. Д-ра Рибо. 2-е изд. П. 50 к.
Психологія великихъ людей. Жюли. Съ франц. 3-е изд. П. 60 к.
Современныя психопаты. Кюллера. Съ франц. П. 1 р. 50 к.
Геніальность и помѣшательство. П. Домбровъ. Съ портр. автора и рисунк. 3-е изд. П. 1 р.
Вредныя полевныя настѣлки. Иерсона. Съ рис. П. 80 к.
Хлѣбный жукъ. Съ 8 рис. Н. Корфа. П. 10 к.
Огородничество. Практич. наставл. для народа, учителей. Ф. Шублера. Съ 137 рис. П. 60 к.
Воздушное садоводство. Н. Жуковскаго. Съ 78 рис. 2-е изд. П. 60 к.
Школьный садоводъ. А. Велетскаго. П. 20 к.

Съ осени 1890 года издается задуманная Ф. Павленковымъ біографическая бібліотека подъ заглавіемъ:

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Въ составъ бібліотеки войдетъ около 200 біографій замѣательныхъ людей. Каждому изъ нихъ посвящается особая книжка, объемомъ отъ 80 до 160 страницъ, снабженная портретомъ. Къ біографіямъ путешественниковъ, художниковъ и музыкантовъ прилагаются кромѣ того карты, снимки съ картинъ и ноты.

Цѣна каждой книжки отдѣльно—25 к.

До 1 октября 1895 г. вышли отдѣльными книжками 170 біографій слѣдующихъ лицъ:

Протопопа Аввакума, Аксаковыхъ, Андерсена, Аристотеля, Бальзака, Баха, Байрона, Бентама и Беккариа, Берне, Бюкона, Бѣлинскаго (2 изд.), Карла Бэра, Беранже, Бетховена, Бисмарка, Бодана Хмельницкаго, Боккачіо, Бокля, Бомарше, Боткина, Джіордано Бруно, Рихарда Вагнера, Леонардо да Винчи. Волкова (основателя русскаго театра), Вольтера, Ворониныхъ, Галилея, Гарвея, Гарибальди, Гаррика, Гегеля, Гейне, Гёте, Гладстона, Глинки, Говарда, Гоюля (2 изд.), Гончарова, Граксовъ, Грибодова, Григорія VII, А. Гумбольдта, Гуса, Гутенберга, Гюго (2 изд.), Дагерра и Ніэпса. Даламбера, Данте, Дарвина (2 изд.), Дарюмыжскаго, кн. Дашковой, Декарта, Демидовыхъ, Державина, Дефо. Дженнера, Диккенса, Добролюбова, Достоевскаго, Жоржъ-Зандъ, Жуковскаго, Золя, Иванова (художника), Іоанна Грознаго, Кальвина, Канкрина, Канта, Кантемира, Каразина (основателя харьков. университета), Карамзина, Карлейля, Кеплера, Кетлѣ, Ковалевской, Колумба, Колыцова, Кондорса, Конта, Конфуція, Коперника, Барона Н. А. Корфа, Крамскою, Кромвеля, Крылова, Кювье (2 изд.), Лавуазье, Лапласа и Эйлера, Лейбница, Лермонтова, Лессепа, Лессинга, Ливингстона, Линкольна, Линнея, Лобачевскаго, Лойоли (2 изд.), Локка, Ломоносова, Ляйелля, Маколей, Мальтуса, Меншикова, Мейербера, Микель-Анджело, Милля, Мильтона, Мирабо, Мицкевича, Мольтера, Монтегкье, Томаса Мора, Моцарта, Никитина, Никона, Новикова, Ньютона, Роберта Оуэна, Паскаля, Песталоцци, Перова, Широкова, Писарева (2 изд.), Писемскаго, Потемкина, Пржевальскаго, Прудона, Пушкина, Рабле, Рафаэля, Рембрандта, Рихелье, Ротшильдовъ, Руссо, Сакія-Муни (Будды), Салтыкова, Савонаролы, Свифта, Сенеки, Сенковскаго, Сервантеса, Скобелева, Вальтеръ-Скотта, Адама Смита, С. Соловьева, Сперанскаго, Спирозы, Стефенсона и Фультона, Струве, Утэнли, Сырова, Теккеря, Льва Толстого, Торквемады, Тургенева, Уатта, Ушинскаго, Фарадея, Фонвизина, Франклина, Цвингли, Шевченко, Шиллера, Шопенгауэра (2 изд.), Шопена, Шумана, Щепкина, Эдисона и Морae, Джорджъ-Эліота, Юма, Фодотова.

Приготавливаются къ печати біографіи слѣдующихъ лицъ:

Александра II, Вашингтона, Вирхова, Дидро, Екатерины II, Лютера, Магомета, Макіавелли, Меттерниха. Наполеона I, Некрасова, Островскаго, Пастера, Петра Великаго, Ренана, Сократа и Платона, Суворова, Успенскаго, Франциска-Ассизскаго, Фридриха II, Шекспира, и др.

Курсивными буквами обозначены имена русскіихъ дѣятелей.

Главный складъ въ книжномъ магазинѣ П. Луковникова. (Спб., Лештукъ пер., № 2)

Digitized by Google

247

247